Елена Ржевская
Ближние подступы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Аннотация издательства: Е. Ржевская — автор известных книг: «Берлин, май 1945», «Февраль — кривые дороги», «Была война…». Ее новая книга «Ближние подступы» в основе своей автобиографична. Составляющие ее повести и рассказы написаны по мотивам лично пережитого. Е. Ржевская была на фронте переводчиком, прошла с армией весь путь до Берлина. Первый раздел книги посвящен военной поре.

- Ближние подступы
  -
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
- Ворошенный жар
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
- notes
  - 1
  - 2

Ближние подступы

В великой эпопее Отечественной войны и Победы городу Ржеву выпала особая доля. У стен его почти семнадцать месяцев шли непрерывные ожесточенные бои, знаменовавшие сражение за Москву. Появившееся в сводках в октябре 1941 года ржевское направление означало, что Москва в угрожающем положении. Отброшенному от Москвы в декабрьском наступлении врагу удалось зацепиться за ржевский выступ, который на языке немецких приказов продолжал называться «кинжалом, нацеленным на Москву».

Без малого полтора года немецкая армия угрожала отсюда Москве. Эти дальние подступы к Москве были ближайшими к ней. Для сражающихся сторон Ржев был стратегически чрезвычайно важной точкой на карте войны, и напряжение здесь не ослабевало. Германское командование считало Ржев «плацдармом для решающего повторного наступления на Москву», которое должно было последовать за предпринятым немцами летом 1942 года наступлением на юге.

Но исход наступления на юге, исход Сталинградской битвы решался также и здесь, на Верхней Волге, у Ржева, где наш фронт вел трудные, упорнейшие кровопролитные бои летом и осенью сорок второго, сковывая здесь значительные силы противника, вынуждая его перебрасывать сюда соединения с юга.

«Русские предпринимали почти непрерывные фронтальные атаки против 9-й армии, особенно в районе Ржева, — пишет об этой поре немецкий военный историк, бывший генерал гитлеровской армии К. Типпельскирх. — В начале августа сложилась очень тяжелая обстановка: русские едва не прорвали фронт. Прорыв удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились к переброске на южный фронт, были задержаны… русские, сковав такое большое количество немецких войск, принесли этим большую пользу своему главному фронту».

Ржев на Волге — крупный железнодорожный узел, перекресток многих шоссейных дорог. Его стратегическое значение было велико. Маршал Жуков в своих воспоминаниях пишет, что во избежание переброски противником войск в район Сталинграда и Северного Кавказа в ноябре 1942 года было «необходимо срочно подготовить и провести наступательную операцию в районе <стр.5> севернее Вязьмы и в первую очередь разгромить немцев в районе ржевского выступа». Ржевский

выступ именовался немцами — «неприступная линия фюрера». Противник здесь воздвиг мощный рубеж обороны.

«Армии двух больших народов насмерть бились за узловой железнодорожный пункт — за Ржев… В боях под Ржевом погибло столько немцев, сколько, например, жителей в Котбусе или Ингольштадте», — писала гамбургская газета «Die Welt».

Огромны, жестоки здесь и наши потери…

По мере того как овладение нашей армией Ржевом становилось для немцев реальной угрозой, германское командование прибегло к психическому воздействию на своих солдат, с тем чтобы принудить их к стойкости. Гитлер объявил: «Сдать Ржев — это открыть русским дорогу на Берлин», призывая во что бы то ни стало, не считаясь с потерями, удерживать город.

Мы вошли в Ржев 3 марта 1943 года.

Лишившись «жизненно важной коммуникации» — железной дороги, по которой шло основное снабжение его войск, противник был обречен на дальнейшее отступление. И мы неостановимо двинулись на запад. Перед нами впереди был Смоленск. И уже на дорогах появлялись плакаты: «Мы идем к тебе, Беларусь!»

Будучи военным переводчиком, я прошла с армией от Ржева до Берлина — до Победы, которая слагалась из многих решающих битв на пути к ней. В их числе протяженная, самоотверженная битва за Ржев.

Пережитое неотступно возвращает меня в гущу тех дней, когда и усилия сражающейся армии и жизнь местного населения в зоне фронта — все смешалось, и возник неповторимый образ самоотверженной народной войны.

Это повествование сложилось из моих фронтовых записей и более поздних, сделанных по памяти; из сохраненных документов — их выразительность на отдалении лет становится лишь сильнее, — из почерпнутого мной, когда я снова и снова возвращалась во Ржев и на старые места наших боев и дислокаций, где пережившие войну люди помнят обо всем, что здесь было.

Глава первая
Весна

Тучи толкутся. Гарь за деревней в поле. Свинцовый денек сорванного наступления. Танки, выведенные из боя, вкатываются сюда, в деревню, громыхая и лязгая. <стр.6>

Напротив колодца — реденький кружок: бойцы и командиры. Там на коврике, раскинутом на сырой земле, молоденький акробат вертит акробатку, ломает ее пополам, перекидывает через себя. Отбежав, призывно манит рукой, и она босыми ножками по рыжему выщербленному коврику — и к нему, к нему и опять взлетает на воздух. На ней одни трусы да лифчик, чешуйчатые, в блестках. Москва, Москва, кого только не шлют на разгром врага. Все для фронта!

Танки выводят из боя, и они по одному, вразброд, сотрясаясь и волоча подбитые гусеницы, вползают с размашистым лязганьем. Глушат моторы. Из башни вылезают танкисты и, переступая тяжелыми ногами, бредут к кружку.

Гуще круг. Черные, сдвинутые на брови шлемы, закопченные лица. Чей танк не вернулся, кто там догорает в трясине у городского леса — еще не сосчитано. Осев на затекшие ноги, танкисты хмуро уставились — маленькая акробатка, землистое тело. На коленках стоит, откинулась назад, уперлась руками в землю, приподымается — изогнулась вся. Голова запрокинута. Мостик делает, кто понимает.

Тишина гробовая. Никто не пикнет, не ухмыльнется. Только лязгают танки. Слышно — на левом фланге стреляют.

Теснее круг — пододвинулись к самому коврику, окольцевали. Мечи сюда немец хоть минометный огонь — не отступятся. Сапоги переминаются, топчут рыжий коврик. Чуется пот их работы, этих двоих на коврике. В небе «Яки» прошли, беззаветно врезаясь в низкие тучи. Никто не проводил их взглядом. Неотрывно, в упор, окаменело смотрят танкисты в выгнутый живот циркачки.

Она разогнулась, покружила немного — и стоп. Поклонилась, девчоночка. Циркач нагнулся и ловко скатал коврик. Похлопали. И разбрелись.

* * *

Заглушенные голоса в эфире. Настраиваюсь. Треск разрядов,

и опять что-то перекатывается мерно, как морские валы, и ничего не разобрать, щелканье, разрывы.

— «Звездочка»! Я «Ястреб». Захожу слева. Прикрой хвост! Прикрывай! <7>

— «Звездочка»! «Звездочка»! Мне навязывают бой. Почему не прикрываешь? В хвост мне заходят. Петя! Прикрой!

Я толкаю оконные рамы, высовываюсь в наушниках, ищу их в небе. Тут, над нами, нет их. Вдалеке что-то шныряет, не то птицы, не то самолет.

— Петя! Нависают! Не видишь, что ли? Улыниваешь, мать…

— Захожу, захожу! Вася, держись!

* * *

Двое пленных, сидевших на пороге сарая, громко заспорили. Часовой шикнул на них. Они переждали немного и опять за свое. Тогда часовой, показывая руками, велел одному из них уйти в сарай, другому оставаться на месте.

— Раз не можете по-хорошему, сидите врозь.

* * *

«Я, гражданка Орехова Татьяна Ивановна, проживала в г. Ржеве по ул. Марата, дом № 75, квартал 157. Муж мой — Орехов Василий Нилович, кандидат ВКП(б), работал зав. магазином № 14 Трансторгпита.

10 ноября в 2 часа дня моя дочь, семи лет, прибегла с улицы: „Мама, повели папу и много дяденек“. Я выбежала и увидела, что ведут человек десять, среди них мой муж, Сарафанников, завхоз пивзавода, баянист Дроздов, Медоусов, Пегасов (работал директором пекарни), Рощин, а других не знаю.

Когда я подошла, муж крикнул: „Вернись! Не ходи, куда нас ведут. Это для тебя будет очень тяжело навечно“. Дроздов тоже просил меня вернуться, но я бежала до самого моста под Гореловкой. Немцы пять человек оставили на этой Красноармейской стороне и пять человек отвели через мост на Советскую сторону. Поставили на берегу около моста лицами друг к другу и стали фотографировать. Мой муж крикнул: „Люби партию, как любила меня!“ Медоусов снял шапку, бросил на землю и крикнул; „Советский Союз непобедим!“ Немцы на каждого набрасывались по нескольку человек и стреляли в голову из левольверов. После расстрела поставили доску с надписью:

„Злостно караются поджигатели немецким правительством“. Это было написано крупными буквами. Еще было написано мелкими буквами, то я не прочитала…. <8>

После этого ко мне приходил Вавилов (до войны работал экспедитором на пекарне), который при немцах назывался господином Лапиным и работал в немецкой управе, и приказал мне выехать из Ржева в двухдневный срок. Я ходила к нему в управу, на двери кабинета была вывеска „Особый отдел“. Я спросила у него: „Товарищ Вавилов, зачем так жестоко предали моего мужа?“ Он ответил: „Я на сегодняшний день господин Лапин“. Я спросила: „Господин Лапин, за что предали так жестоко моего мужа?“ Он ответил: „У ваших коммунистов ноги коротки, а у наших офицеров длинные. Наши офицеры их догоняют“.

После этого я не сдержалась, сказала, что, может, и у вас вскорости будут короткие ноги. Он вскочил со стула и предложил очистить кабинет.

После этого ушли со своей семьей из Ржева сюда, в деревню Горенки».

* * *

Часов с шести вечера обстреливают деревню. За переборкой в нашей избе продолжается заседание сельсовета.

— …Чтобы мимо нас не смог пройти ни один шпион и другой чужой элемент…

Снаряд со стоном проносится над крышей. По потолку к нам сюда сочится из-за переборки дым самосада.

— …Которые дезертиры заходят в деревня… переночуют безо всякой претензии и совершают кражи…

* * *

В Ржеве висит объявление за подписью верховного главнокомандующего германской армии:

«Кто укроет у себя красноармейца или партизана, или снабдит его продуктами, или чем-либо поможет, карается смертной казнью через повешение. Это постановление имеет силу также для женщин. Повешение не грозит тому, кто скорейшим образом известит о происходящем в ближайшую германскую военную часть…»

* * *

Ударяясь о лавки, задевая чугуны, деревянное корыто, споткнувшись о кольцо на крышке, ведущей в <9> подполье, брожу по избе. Над ней нависла война каждый час чреват для нее гибелью, и все тут одухотворено; трогаешь то то, то се с трепетом, словно прощаясь, еще и не узнав-то близко.

* * *

Этот бывший уездный город в сердцевине России. Жила, не ведая о нем нисколечко. А теперь всё — Ржев, Ржев.

* * *

— Уважаемые товарищи! Фашистские гады злодейски убили нашего земляка и любимца — баяниста Дроздова. Перед смертью он успел крикнуть: «Мы здесь хозяева, а вы нет, и будете вы здесь валяться, как вонючая падаль!»

* * *

На опушке леса никаких знаков. Нет белого флага с красным крестом. Раньше, говорят, это служило защитой. Но не в эту войну.

К дереву приколочена дощечка «Хозяйство Черняка» и стрелка, указывающая на разбухшие от грязи колеи, ведущие в глубь леса. Мелькают белые халаты между стволов. В вырытой яме свалены окровавленные бинты, вата… Их забросают землей или подожгут к ночи, когда дым над лесом незаметен.

Разгружают санитарную машину.

За столом на опрокинутом ящике сидит девчонка в пилотке, косо напяленной на короткие завитки волос, пишет под диктовку доктора — маленького, опрятного, снующего среди прибывших раненых. Время от времени она поднимает от листа безмятежные ясные глаза.

Возле нее на спущенных с машины носилках лежит раненый, прикрытый по плечи шинелью. Глядит вверх, на раскачивающиеся макушки деревьев. В глазах терпеливая, смертная тоска.

* * *

«Волга в полосе нашей армии имеет четыре правых притока: р. Сишка, р. Дунька, р. Ракитня и Р. Большая Лоча…

Река Сишка берет свое начало в заболоченном <10> массиве возле станции Оленино и пересекает на своем пути восточный склон Среднерусской возвышенности… Большая извилистость русла и долины и наличие крутых, сильно рассеченных коренных склонов…»

Что-то исконное, умиротворяющее. Даже, не похоже, что это военный документ, составленный нашими штабными гидрологами.

* * *

В лесу, в медсанбате. В палатку просунулась голова.

— Разрешите с вами познакомиться. Я ваш санитар. Третьяков.

— А что же ты, санитар, без шапки?

— Я только что из бани — сперли!

* * *

Дождь, сперва мелкий, припустил и быстро расшлепал и без того моклую землю. В небо уже никто не поглядывал. Никакой напасти не будет — самолеты не поднимутся, выждут, пока там, наверху, прочистится.

На бревнышке, под крыльцом, — чья-то одолженная плащ-палатка на двоих внакидку — сидят акробат с акробаткой, чемоданчик у него на коленях, в нем, должно быть, коврик скатанный да ее трусы в блестках. А сами теперь — кое в какой одежонке, ничем не поблескивают. Сидят прижавшись, посиневшие на мокрели, два нездешних человечка. Не военные оба и не колхозные.

По улице мимо них, тяжело чавкая сапогами, танкисты волокут, мочаля их в слякоти, срубленные молоденькие елочки — маскировать танки. Перегукиваются, все больше матом. Не торопятся укрыться, вроде их не поливает. Мокрый дождя не боится. Если и глянут на тех двоих, что под крыльцом сидят, — не признают. Чьи только такие никудышные? Откуда взялись?

Сидят съежившись акробат с акробаткой, ждут высланную за ними «звуковку» — из этой машины кричат немцам, чтобы

сдавались, но не всякий день, и другой свободной машины на сегодня нет.

Может, не застрянет «звуковка», осилив размытую дорогу, и доставит их куда надо — на передовую, поближе к врагу. Молоденький акробат расстелит коврик на комкастой, набухшей земле и станет вертеть акробатку. Под дождем, и, может, на мушке у вражеского снайпера, <11> и под ошеломленными взорами обступивших бойцов маленькая циркачка взлетит на воздух, немыслимо изогнется — босая, раздетая, поблескивающая чешуйчатыми трусами.

Все на врага!

* * *

Божья коровка, полети на небо,

Там твои детки кушают котлетки…

— это доносятся наперебой голоса деревенских девочек.

И мы в детстве этими же словами заклинали божью коровку, усадив на ладонь. И до нас это было. И после этих девочек все так и будет.

Свалятся оттуда, сверху, и отгрохают свое все бомбы. А обжитое, домашнее, нехитрое небо — «детки», «котлетки» — останется.

* * *

Здесь, на нашем участке, на переднем крае противника среди солдат распространяют воззвание немецкого командования. Перевожу доставшийся нам экземпляр:

«Немецкие солдаты! Мы должны удержать Ржев любой ценой. Какие бы мы потери ни понесли, Ржев должен быть нашим. Ржев — это трамплин. Отсюда мы совершим прыжок на Москву!»

* * *

Солнце, заваливаясь за дальний лес, выбросило косые лучи, подсветило танковое становище у нас в деревне.

Мне повстречалась женщина. Она шла со мной рядом, гремя висевшими на руке пустыми ведрами.

— Ох, он лупит и лупит.

Немец действительно сегодня что-то обнаглел.

— Долго такая музыка тянуться будет?

— Это вы насчет пальбы?

— Нет, насчет всей войны я. А кончится — кому понадобишься? Уже года не те.

Я сказала ей, что она еще вполне ничего собой.

Она быстро скосила на меня глаза, свободной рукой поправила косынку на голове, усмехнулась:

— Да какая я хорошая, — вся морщеная.

* * *

Старуха разогнулась от гряды, приложив руку к глазам козырьком, в упор рассматривала нас, не шелохнувшись. <12> Моя попутчица ушла, погромыхивая ведрами. Старуха указала темным пальцем ей вслед:

— Тюрина — выжига. Она по двадцать рублей клубнику носила в город. И опять понесет, вот увидишь, дай только война кончится.

Где-то совсем близко на краю деревни разорвался снаряд. Старуха покачала головой.

— Он уже не такой буйный, окорачиваться вроде стал. А вот опять, гляди.

Она перешагнула через жердину и позвала меня в дом, не спрашивая, кто я и зачем явилась. Это был запустелый, закопченный дом с осевшим полом и скособочившимися окнами; здесь держался начальничий запах одеколона, папирос и новых ремней. На лавке спал боец, нахлобучив на лицо пилотку.

— А ребятишки ваши где же?

— Их прохлыстать как следует надобно. Поняла? Гоняют без толку…

Со страшным воем пронесся над крышей снаряд. Старуха либо недослышивала, либо под охраной своих закопченных стен чувствовала себя в безопасности. Боец продолжал спать.

В избу бесшумно проникли двое — мальчик и девочка лет шести и восьми, два босых тощих галчонка. Должно быть, обстрел загнал их домой, и теперь они жались к печке. Они понуро слушали, как опять взвыл снаряд, и девочка, старшая из них, чесала одной босой ногой другую.

* * *

«1. Общее собрание колхозников единодушно приветствует

выпуск Государственного военного займа 1942 г., и постановили включиться активно в подписку на заем. Подписаться сельхозартелью „Светлое Марково“ на заем на сумму 1000 (одна тысяча) руб.

2. Приобрести к каждому колодцу общественную бадью, возложив дело приобретения бадей на тов. Купчихину.

3. Просить сельсовет ходатайствовать перед РАЙУПЛНАМЗАГОМ о снижении мясопоставки за 1942 г. Ивановой Домне Иван. ввиду ее многосемейности и учитывая хозяйственное положение как беднячка, не имеющая скота. <13>

4. Вызвать т. Денисову А. И. для убеждения об уважении общественных совещаний».

* * *

Большой, замученный, почерневший, он не присел на бревна, как ему предложили конвоиры, стоя ждал своей участи. На изодранной в клочья грязной нательной рубашке — орден Красного Знамени. Хранил его под подкладкой в сапоге и сейчас, когда его вели с передовой, прикрепил. Единственная вещественная связь с прошлым. Летчик. Подполковник. Два месяца назад сбит, был в лагере военнопленных. Сегодня бежал и перешел линию фронта.

Один конвоир пошел в штаб к комиссару полка, на чьем участке объявился сегодня бежавший из плена летчик, — пусть установят его личность, разберутся, — другой ковырял сапогом землю в стороне, стесняясь показывать, что охраняет его.

Летчик стоял, черный от голода и щетины. На груди, едва прикрытой клочьями рубашки, кровавое пятно — орден Красного Знамени.

* * *

«Управление Охраны города и района Смоленска
15 апреля 1942 г
№ 8
Начальникам волостных охран и инспекторам колец
и Копия:
Начальнику Смоленского р-на

Предлагаю вам, помимо регистрации жидов, проживающих в ваших волостях, также вести регистрацию цыган с указанием, в

каких населенных пунктах они находятся и количество их.

Желательно составление списков цыган с указанием адреса, фамилии, имени и отчества.

Начальник управления охраны Сверчков».

* * *

— У, разбомбленная твоя мать!

* * *

Хозяйка говорит:

— Как длиннобойная бьет, в доме чернота, <14> смрад. Посуда в столе разговаривает. В колодце — грязь.

* * *

Еще и год не прошел, а вспоминается вроде издалека уже:

— Во вторую бомбежку в Ржеве было, на Илью Пророка. Кричу его: «Михаил! Лятят!» Только успел на ступеньку ступить. Ему тут все распоясало. Мы выскочили, он уже неживой лежит.

* * *

Где-то, затерянное в глубине веков, его начало — Ржевка, Ржова, Ржевъ-Володимеровъ? Какое-то смутное упоминание о нем в древнем новгородском уставе о мостовых 1019 года.

Говорят, в уставной грамоте смоленского князя Ростислава упоминается волость Вержевляне в 1150 году. Не знак ли? Но все еще смутно. И та местность, что ныне под городом и районом, оспаривалась, полагают, с боями удельными князьями, а чаще одолевалась Новгородом. Но так ли, нет ли, все еще зыбко — догадки, прикидки, несогласия исследователей. Р1 контура той земли как бы и нет еще.

Но вот с твердостью отмечает летопись: город подвергается осаде в ходе войны князя Святослава Всеволодовича с торопецким князем в 1216 году. Это бесповоротный знак об основавшемся уже городе — прародителе нынешнего Ржева.

Вот при каких обстоятельствах история выявляет его из глуби веков. Осада! И в сметающем все потоке времени — стоп!

загвоздка! Любознательность истории расшевелена и дает нам знать о существовании города!

И сейчас этот город, захваченный немцами и осажденный нашими войсками, — он на виду. И внимание истории, надо думать, не обойдет его. Вот ведь какой ценой оно дается.

* * *

Разведчики вернулись. Взять «языка» не удалось. Натолкнулись на боевое охранение, ввязались в бой. Но немцы скрылись по ходам сообщений, унося своего убитого или раненого. Остался на месте происшествия бумажник. В нем ничего существенного, нет даже солдатской <15> книжки. Только вырезки из газет о награждениях, видимо знакомых или сослуживцев владельца бумажника. И траурное извещение. Перевожу:

«В гордой преисполненности долгом, воодушевленный на подвиг во имя фюрера и будущего Великой Германии, пал во главе взвода и тем самым отдал самое большее, что мог, свою юную, цветущую жизнь, наш дорогой, незабвенный сын, сердечный брат, внук, племянник, двоюродный брат и добрый товарищ

Генрих Шеперс

СС-обершарфюрер».

Перечислены его награды, приведены даты: 28.12.21–13.3.42. И в зарифмованных строках:

Кто смерть нашел в борьбе святой.

Покоится в земле чужой,

Как в отеческой.

Ниже подписи:

«Родители: Генрих Шеперс и супруга Эдит, урожд. Гердт; сестры и братья: Софи, Ханни Ганс и Карин; его любимая подруга Гедвиг Клауз и все родственники. Обригхофен, Адольф-Гитлерштрассе, 22/2».

На обороте этого траурного извещения напечатана статья «Назад к неандертальцу?»:

"Итак: "Опростимся, приблизимся к естественной жизни". Этот призыв, высказанный недавно одним читателем, вызывает возражение другого. И он пишет о том, как пагубно скажется распространение в народе этих мнимоположительных идей, ратующих за возврат к примитивному образу жизни. В качестве примера он приводит одного своего знакомого. Тот недавно прочел в "…" (в одном уважаемом еженедельнике, название

опустим) о том, будто мы после войны вынуждены будем переучиваться жить, будто мы вынуждены будем вернуться назад к керосиновой лампе, отказаться от газа и электричества, от клозета с водяной промывкой. "Я не уверен, так ли это, — пишет наш читатель, — и готов поверить вашим разъяснениям. Но этот человек произнес, к моему глубокому сожалению, следующее: "Мы идем навстречу очень мрачным временам. Для чего же победа, если принесет такие плоды?"

Ну что ж. Упомянутый еженедельник мог бы в самом деле напечатать что-нибудь более достойное, если <16> из его статьи можно извлечь подобные выводы. Однако, слава богу, ни слова нет в том правды. Никому не придет в голову с завтрашнего дня вменять германцу образ жизни наших предков, лишенный цивилизационных и культурных достижений. Мы не станем разрушать наши электростанции и не станем валить мачты высокого напряжения. Мы станем изготовлять из нефти и бурого угля не керосин для чадных коптилок, а бензин для "фольксвагена".

Господин — распространитель вычитанного должен был бы суметь насколько только возможно выявить между строк насущное различие между представлениями о Жизни-Бытии и потребностями текущего момен…"

На этом обрывается статья — больше не вместила площадь вырезанного траурного извещения, на обороте которого она напечатана…

* * *

Под окном прошел наш младший сержант, ведя за руку махонькую здешнюю девочку. Объяснял, наклонившись к ней, едва ли способной охватить это:

— Обувь бывает трех видов: кожаная, матерчатая и валяная.

И было наглядно насчет человеческой потребности делиться, доносить свой опыт. Отсюда, наверное, и педагогические и писательские склонности в человеке.

* * *

Районная газета. Шапка: "Сев — тот же фронт".

Решение исполкома райсовета от 8 мая 1942 года:

"Обязать всех председателей с/совета:

а) строго контролировать установленный бригадам график

сева, с тем чтобы в ближайшие три дня закончить сев яровых зерновых и до 15.V закончить посадку картофеля и посев овощей;

б) установить строгий контроль за нормами выработки…

в) строго контролировать установленный распорядок рабочего дня в колхозах, выход на работу в 5 ч. утра до 8 ч. вечера с перерывом на обед не более одного часа".

* * *

— Иногда я выпью, если поднесут. Но я за себя отвечаю, я за рулем сижу. <17>

— Это пороховой погреб, имей в виду.

— Это пороховой погреб, за который я отвечаю, что он не взрывается и не взорвется.

* * *

Кончились весенние напасти: эти вскрывшиеся ручьи, через которые по перекинутым слегам балансируешь не всегда успешно; разбухшие валенки, "большая вода" поднявшихся болот, затопляющая траншеи и блиндажи. "Дороги стали". И ни хлеба, ни сухарей. Голодные люди. И как-то по-особому горестное — изголодавшиеся бессловесные лошади. Кавалерийские лошадки. Они шли на лечение. Но перед канавой останавливались, чуть пятились, не имея сил переступить ее, и ложились умирать в дорожной жиже. (Это я видела 16 апреля 1942 года.)

* * *

"18 мая 1942 г.

Исполком райсовета обязал пред. с/совета привести в надлежащий вид одиночные и братские могилы бойцов и командиров Красной Армии, а также очистить территории сельсоветов от вражеских солдат, офицеров и трупов животных, убитых во время боев".

* * *

Оказывается, старинный герб Ржева — лев на красном поле. Мудрость? Мощь? Военная доблесть?

Ржев был перевалочным пунктом и к Днепру, и к озеру Ильмень. Здесь скрещивались беспокойные интересы крупных политических сил: Москвы, Твери, Литвы. И с первой отмеченной летописью осадой Ржев еще четыре века треплют войны: то он объект раздора князей, то добыча Литвы, то отбит вновь для Руси Тверью, а с ослаблением ее достается Москве.

Он стоял на западной окраине русских земель, и не раз на него обрушивался удар врагов, рвущихся в глубь России.

В последний раз в 1613 году пан Лисовский штурмует Ржев, но население отбило город.

С тех пор враг не топтал ржевскую землю три столетия, совпавшие с трехсотлетием дома Романовых, и сверх того еще двадцать восемь лет. <18>

* * *

— Уже пастух отъел один круг. Как время-то идет.

* * *

У меня в руках немецкая газета "Дас рейх" от 19 апреля 1942 года. В ней статья министра вооружения Шлеера под названием "Увеличение производительности": "Энергичное применение самых суровых наказаний за проступки: карать каторжными работами или смертной казнью".

* * *

— Лютейше Никона-еретика адов пес, — сказал старик старовер о Гитлере.

Старик дремуче бородат. Ни ножницы, ни бритва не прикоснулись к нему, как и к предку его. Уж как ни гонялся Петр I за бородой того, как ни преследовал, ни ссылал — не дался. Без бороды искажается образ божий. И носил предок по указу при Петре на верхней одежде медный знак с надписью: "Борода — лишняя тягота, с бороды пошлина взята".

* * *

Строго секретный немецкий документ от 20 апреля 1942 года

— "Программа главного уполномоченного по использованию рабочей силы" (прислан штабом нашего фронта для ознакомления):

"Для того чтобы ощутимо разгрузить от работы крайне занятую немецкую крестьянку, фюрер поручил мне доставить в Германию из восточных областей 400–500 тысяч отборных, здоровых и крепких девушек.

Заукель".

* * *

— Тютями не обзаводитесь — это провал. Подберите двух-трех отчаянных, и все, — наставлял капитан молоденького разведчика Федю: ночью его забросят в тыл немцев.

* * *

"В 14.00 (командирским наблюдением) отмечено движение до 20 танков с запада на Ржев через Муравьево. Авиаразведкой установлена понтонная переправа через р. Волга южнее Доброе. В роще северо-вост. Ржев отмечено скопление пехоты противника". <19>

* * *

Рассказывают, здешние старые люди косить приступали, когда кукушка откукует, после петрова дня. Трава вызреет, обсеменит землю.

Как первую кукушку услышишь, брякни деньгами, чтоб водились. Натощак в лес сунешься, окукует столько раз, сколько жить осталось. Закуковала — пора приниматься лен сеять. Замолкла — рожь заколосилась, а кукушка колоском подавилась.

Но теперь все природные связи нарушились. Какое уж там кукованье, когда всех птиц распугали грохотом, пальбой. Если такая бедолага еще тут чужие гнезда выискивает, кто ж различит в гвалте войны ее кукованье. Ни говора леса, ни плеска реки, ни ветра в поле — слух сверлит только враг в небе да снаряд, сюда наяривающий.

* * *

Я думала: война. А это — дорога, небо, дети, крестьяне, городской люд, голод, смерть.

* * *

"С 11 на 12 октября 1941 года городской партийный актив оставил город и ушел в партизанские отряды..

Для примера следует привести, что по партизанскому отряду № 1 (37 человек) приходится на каждого партизана 4 убитых немца и плюс 18 в остатке..." (из пересланного через линию фронта отчета).

* * *

"Фюрер распорядился, чтобы самыми крутыми мерами в кратчайший срок было подавлено коммунистическое повстанческое (партизанское) движение. Именно такими мерами, которые, как свидетельствует история, с успехом применялись великими народами при завоеваниях, может быть восстановлено спокойствие.

При этом в своих действиях следует руководствоваться следующими положениями:

а) каждый случай сопротивления немецким оккупационным властям независимо от обстоятельств следует расценивать как проявление коммунистических происков;

б) чтобы в зародыше подавить эти происки, следует по первому поводу немедленно принять самые суровые меры для утверждения авторитета оккупационных властей <20> и предотвращения дальнейшего расширения движения. При этом следует учитывать, что на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью, В качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться смертная казнь для 50–100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще больше усилить устрашающее воздействие.

Обратный образ действий — сначала ограничиваться сравнительно мягкими приговорами и угрозой более строгих мер — не соответствует этим положениям и его следует избегать…

Эти основные положения должны быть немедленно доведены до сведения всех военных инстанций, которые заняты подавлением коммунистического движения".

* * *

Чаще всего говорят так:

— На покров день, четырнадцатого октября, по-старому первого, немец вошел в Ржев.

Покров день, первое зазимье, еще не зима, а первая пороша. Время свадеб (придет покров, девке голову покроет). Праздник пресвятой богородицы, теперь навсегда — день, когда "немец вошел".

* * *

Ясный, словоохотливый, вымуштрованный немецкий солдатик.

— Сейчас расстреляете?

Я перевела.

— Иди ты к черту, в конце концов, — сказал ему капитан.

— Не надо меня убивать, очень прошу.

В солдатской книжке у него вложена "Памятка немецкого солдата": "Фюрер сказал: "Армия сделала из нас людей, армия завоюет мир", "Мир принадлежит сильным, слабые должны быть уничтожены"…"

* * *

Долговязый, лицо неправдоподобно белое, и взгляд отсутствующий, — может, потому, что все время слушает небо. Зенитчик. <21>

Когда эти незнакомые ребята позвали меня поесть и в крышку котелка плеснули крупяного супа, он машинально вытянул из-за голенища ложку, проволок ее по заношенному хлопчатобумажному галифе, обтирая из вежливости, и протянул.

Наступит ли время, когда мы снова будем брезговать, мыть ложки, вместо того чтобы при случае всегда пользоваться чьей-либо облизанной и сунутой в сапог?

Может, мы даже не понимаем, какое в нашей искренней небрезгливости друг другом братство.

* * *

Трофейный документ, датированный октябрем 1941 года:

"К немецким солдатам.

Воззвание.

Солдаты! Перед вами Москва! За два года войны все столицы континента склонились перед вами, вы прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите ей силу вашего оружия, пройдите по ее площадям. Москва — это конец войны!

Верховное командование вермахта".

* * *

— Дуваните немца! Ой дуваните!

* * *

Теленок дремлет на полу за загородкой. Белое пятно на коричневой голове. Ребрышки в золотистой шерстке шевелятся, дышат…

Вдруг откуда-то из глубины моей жизни — видение.

Мне два с небольшим года. Мы еще живем в Белоруссии. Такой же вот теленок, принесенный в дом, ворочается на подстеленном тряпье в кухне. Поднимается — тоненькие, нестойкие ноги подкашиваются. Опять старается подняться. Морда запрокинута, тело клонится набок — дрожат слабые ноги. Стоит! Меня охватывает ликование, но страх берет верх, и я пускаюсь наутек. Вбегаю в комнату, прячусь за буфет. Здесь, в простенке между буфетом и окном, висит деревянный овал с нарисованным маминым лицом в обрамлении распущенных волос. Взбираюсь на стул и не <22> в первый уже раз разглядываю портрет. Смутное, волнующее ощущение красоты охватывает меня.

Мама с младшим братишкой эвакуировалась, очутилась в Бугуруслане, у чужих людей, в скученности, грязи. Она пишет, что нет мыла, мучают насекомые и придется отрезать волосы.

Если вернусь домой, увижу ее обкорнанную — как на пепелище попаду.

* * *

Разведчик Коля С. подвесил на пояс трофейный кинжал. На лезвии выгравировано: "Alles für Deutschland" — "Все для

Германии".

* * *

Бывалый солдат, отступал год назад от самой границы в Латвии.

— Тогда мы решили с солдатом переправиться через реку Великую, но вброд перебраться не удалось, река была глыбокая и быстрая, я в полном боевом снаряжении погрузился в воду, винтовка у меня машинально выпала из руки, снятые сапоги, еще кавалерийские, утонули, а сам я выплюнул воду изо рта, поднялся на поверхность воды и поплыл к берегу, малейшая оплошность или растерянность — и я утонул бы в реке Великой. Вот что значить в начале войны еще не было у нас опыта, мы еще учились воевать. И вот после этого купанья я с солдатом трое суток добирались до части с помощью своего компаса, а когда пришли в часть без винтовок и босые, на нас некоторые смотрели с презрением и приказали нам найти в двадцать четыре часа винтовки, а иначе расстрел как изменников родины. Но мы оружие в этот короткий срок все же достали, ночи не поспали, проявили кавалерийскую находчивость, а потом нам выдали ботинки, вскоре наша часть под Опочкой пошла вместе с бронемашинами в наступление, мы прочесывали лес вдоль шоссе Москва — Ленинград, в этом наступлении меня ранило в локоть, два пальца первое время не владели, но с передовой линии я не уходил.

* * *

О эта спасительная немецкая равномерность. Обстреливают дорогу: бах и опять бах! — через равные <23> промежутки. И в высчитанную ритмичную паузу — наш бросок через дорогу. Уже за нами рвется снаряд и осколками шарахает по кустам. А мы уже отбежали и шагаем с веселым недоумением небожителей. Раз-другой пронесет, и уже верится, что так оно и будет и минует. И сам черт не брат.

* * *

Тут в деревне у маленьких ребят немалый опыт, побывали два с лишним месяца под немцем.

— А что, немец разве зимой на колесных повозках ездит?

— А то как же, — важно говорит девчонка и качает из стороны в сторону головой, подражая рассудительным старухам. — Он, если захочет…

* * *

— Я еще раз заявляю, не такая пьянка во мне, как рисуют.

— Потише, потише. Горланишь чего?

— Такой голос отец отковал.

* * *

Вот текст немецкой присяги. Перевожу:

"Я приношу перед богом эту священную клятву в своем полном повиновении фюреру и канцлеру немецкого народа Адольфу Гитлеру, главнокомандующему германскими вооруженными силами, и во исполнение этой присяги готов, как храбрый солдат, в любую минуту отдать свою жизнь".

* * *

Мышь попалась на кусочек чикагской колбасы, что приплывает из-за морей в портативной таре и заодно с английскими ботинками называется в частях "вторым фронтом". Кликнули серую кошку. Кошка не торопясь присела на задние лапы и стала обнюхивать. Мышь изловчилась и укусила кошку за нос. Серую кошку повели расстреливать. Тот боец твердо знал — сохранять надо только целесообразное. Еле добились для кошки амнистии.

* * *

— Разненастится погода. <24>

— Ветер, главное дело, и облака серые, серые плывут.

— Наше счастье — дождь да ненастье. Немцу не летать сегодня.

* * *

У нее светлое изнуренное лицо, остренький подбородок, живые, негасимые густо-карие глаза. Я смотрю на нее, вижу в чертах ее лица что-то вековое, давнее и легко представляю себе ее в низко насаженной шапке с рогами, в опашне, надетом, как предписывал указ Петра I ее прапрабабкам, чтоб чужесть староверок издали выявлялась, чтобы православный мир к ним не приближался.

Она работала до войны счетоводом в фельдшерско-акушерской школе. Муж — старообрядческий церковный староста — сборщиком утиля.

Сейчас, когда бой в северо-восточной части Ржева, их окраинная улица перешла в наши руки, и они спешно эвакуированы на войсковых подводах сюда, в деревню.

А прошлый год не поднялись. Семь человек детей мал мала меньше да две старухи. "Как тут возможно уехать".

— Просили его тут другие, моего старика, чтобы он старостой квартала стал. Что тут порядок будет. "Никакого, ответил, тут порядка не будет. Это налетела всеопустошающая саранча". Они темноты боялись, а мы раскрыли камни фундамента — под полом все сидят в темноте, дети, старухи. Вдруг идут с собаками. Шпоры. На широкой цепке большая бляха. Ой, найдут. А мой старик не успел, побежал в баню. "Пан где?" — "Нету пана. Никс". Они открыли, а он — голый, моется. Чуть не каждый день топили офицеру или солдатам. Ну, не тронули. Голого не погонишь на работу. А меня немец стал стегать нагайкой. Плетка такая ременная. "Врешь! Пан в бане". — "Это отец мой". Он с бородой и на десять лет меня старше. Поверил. "Если б пришли и так бы над твоей матерью издевались бы", — говорю. "Никс русские в Дойчланд". Это значит — никогда не придут русские к ним.

* * *

У немцев приказ по полку. Вменяется машины заводить в сараи. Если же сараев нет, машины ставить <25> по две вместе и покрывать их вместе, чтобы наши летчики принимали за сараи.

* * *

Мотор сверлит со стонущим металлическим подголоском. "Мессер".

Поют мужчины:

А она во всем согла-ша-лася,
Потому что лю-била ме-ня….

* * *

В деревне, отбитой у немцев, уцелел фанерный щит: "Нищим не подается и обмен не производится".

Написано по-русски, но нравы чужеземные.

* * *

По улице шел разведчик П. Он возвращался с задания. Из-под деревенского картуза, осевшего по самые уши, — потемневшее небритое лицо. Облегающий пиджак на нем и короткие холщовые брюки.

Какое это счастье — видеть вернувшегося с задания разведчика.

* * *

На войне человек налегке. Свалился житейский груз, бремя выбора не гнет, не отягощает.

Нет ни выбора, ни бремени его.

А то, что есть, — на прямой и оголенно: приказ, враг и — осилить.

Есть еще — смерть. Но она тут слишком близко, чтобы ее в расчет принимать.

* * *

В армии я оказалась на Волге — в Ставрополе на курсах военных переводчиков. Потом мы гуртом вынырнули из глуби, из Ставрополя, с тех курсов, и — по санному пути, по Волге, чтобы предстать в Генштабе в самые решительные минуты своей жизни. И как они просты, эти минуты. Пожалуй, даже чересчур.

Еще ездила и пешком топала — и опять на Волге, У Ржева. <26>

* * *

— В данный жестокий, но героический, великий момент…

И все. Ни слова больше.

Патетика сейчас — только клич к бою, вскрик рванувшегося в атаку, стон раненого: "Братцы!" Проклятье немцам: "Гады! Гады!"

* * *

И все время рядом крестьянские неимоверные усилия — воспроизвести, вырастить что-то для жизни, сохранить скот, спасти стены жилища..

* * *

Вчера, когда возвращалась из второго эшелона, по деревянной дороге, выстроенной на болоте, подвез на полуторке шофер. Из Казахстана он. Меня постоянно волнует на фронте соприкосновение с людьми такими различными, прибывшими из разных, совсем несхожих городов, земель, закоулков.

* * *

Награждали разведчиков.

— Служу Советскому Союзу!

Один и другой — так. А третий — немного постарше, порасторопнее, быстрые, цепкие глаза на побитом оспой лице — добавил решительно, зычно:

— Наша рота крепка, как советская власть, чиста, как слеза божьей матери. Смерть немецким оккупантам!

* * *

Есть мы, и есть они — немцы. И все предельно ясно. Но когда появляется бежавший из плена летчик, или обросший скиталец окружения, или когда проникаешься судьбой здешнего населения, появляется нечто третье, и все становится объемнее, глубиннее, драматичнее.

* * *

— Я решил: как победим и домой отпустят, поеду по всем

местам, где воевать пришлось. Вот адреса хозяев и собираю. <27>

* * *

На войне власть одного человека над другим так грубо обнажена — власть без камуфляжа. И все здесь зримее: жизнь и смерть, смелость и отсутствие ее, мука и облегчение.

* * *

— Я-то умру, черт со мной, может, только дети заплачут. И никого не затаскают по судам. Потому что война — бойня. Но мне желательно наперед с этими фашистами сквитаться. Чтоб потом досада не донимала. А то оттуда мне их уже не достать.

* * *

"При вручении гвардейского знамени командир полка, принимая знамя, становится на одно колено, целует угол алого полотнища. Весь строй преклоняет колени. Командир произносит от имени своего полка клятву гвардейцев" (газета "Красная Звезда").

Это входящий в жизнь совсем новый ритуал.

* * *

Кто-то съездивший в Москву завез билетик метро, и билетик бережно пошел по рукам. Каждый молча подержит, проглотит задавленный вздох о заманчивой мирной жизни, передаст подержать другому.

* * *

Здесь, в деревне, немцы не стояли.

— Они у нас только набежные были, — говорит хозяйка.

* * *

— Немчура замуж пасется, — сказал пожилой ездовой.

Я не поняла.

— Наступать собирается, — разъяснил.

Армейского языка, так называемого суконного, в разговоре и не услышишь. Речь образная, и у каждого на свой лад. <28>

* * *

Коренастый, тяжелый, он не то чтобы переступал ногами, а наваливался на землю то одним боком раскачивающегося тяжелого тела, то другим. Мы не уходили, пока он совсем не скрылся с глаз.

Это ведь только кажется, что таких тяжеловесов пуля не достает. Всем кажется и ему тоже.

* * *

Когда я уезжала из Москвы на фронт, Д. Б. сказал на прощанье: "Храни тебя бог". Он не заметил, что говорил, был расстроен и вдруг старчески суетлив. А в Генштабе юноша с орденом Красной Звезды (о нем говорили: "Он из тех, кто грудью прикроет блиндаж"), зная, что такое война, простился: "Благославляю вас" — и сразу стал непосторонним. Вроде пробились древние, из глубины времени слова.

* * *

— В пилотке, в шинели внакидку она сидела у входа в землянку и резала трофейный парашют на носовые платки. Я подсел и стал помогать ей. Потом, уже под Орлом. Бескрайняя мгла, холодная слякоть. И наутро бой. Тоска сжимала сердце. Мы заняли половину школы. Я сидел у открытой печки на березовой чурке, подбрасывал в огонь… Наутро предстоял бой. Кто перед боем смотрел на прыгающий огонь, тому не забыть этого… И вдруг отворяется дверь — вошла она. Мы простились. Слов не говорили. Она опустила руку в карман моей шинели, положила индивидуальный пакет. В этом было все: береги себя. Я пошел. Вернули нас. Бой отложен. Были еще часы, ночь. Мог ли я не вернуться? Я примчался. Мне было девятнадцать лет!

— Ну и ладно, а теперь двадцать. Так что с того? Из-за бабы расквасился. Да за них теперь поручится только дурак или

сопляк.

— Я утоплю тоску в самом себе.

— От тоски, поимей в виду, вши заводятся.

* * *

Молния вспыхнула совсем близко. С треском пугающе раскатился гром. Громыхать — это теперь прерогатива бомб. Так что совсем неожиданная вдруг эта <29> мощная стихия. И лавина дождя с ветром. Пригнула деревья. Забарабанил гром.

* * *

Бывают моменты истории, когда вся лучшая часть молодого поколения захвачена потоком времени, вся самая активная, самая надежная его часть. И поток этот устремлен не к какой-либо своей выгоде, не к материальному благу, а к сражению, к смертельному сражению, в котором совсем поредеет этот поток. Выпасть из него значит изменить делу поколения.

Ифлиец Миша Молочко говорил: "Наша романтика — это будущая война с фашизмом, в которой мы победим". В этом был наш общий пафос.

Вообразить себе войну я не умела. Смутно и наивно до дурости мерещилась изба — это штаб. И фронт — сплошная линия окопов, в которых все мы, фронтовики.

В общем, реальные картины войны не возникали, и я не слишком нуждалась в их уяснении. В результате практически к войне я совершенно не была подготовлена, только эмоционально. Но мы уходили на войну как на главное дело нашей жизни. И, похоже, не обманулись.

И вот еще что: эмоции оказались устойчивее многих практических реалий, во всяком случае устойчивее моих прохудившихся сапог

* * *

За установившимся однообразием дней что-то зреет. Что же? А пока усердно радуюсь этим дням. Ходила с целым ворохом ребятишек за черемухой. Жаль только — отцветает.

* * *

Он томится как с похмелья и разом оживает, встряхивается, когда снова — дело, риск, идти ему в разведку. И опять пока что проходу не даст сколько-то пригожей бабенке, чтобы не ущипнуть, не притиснуть.

— Ох ты пятух! — заругалась на него одна. — Одно слово — командир. Тебя надо скастрировать, чтоб ты тут не задирал всех! <30>

* * *

Еще одна памятка немецкого солдата:

"У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобою старик или женщина, девочка или мальчик — убивай…"

* * *

Крайнюю избу занимают под наш узел связи. Хозяйке велели пока что на время переселиться по соседству.

— Не пойду. И все. Я насчет этого тверда.

* * *

Затишье. Живешь очень природно, опрощенно — и чувствуешь живительность этого необычного состояния.

А саму природу: деревья, травы, темные зубья отдаленного леса в закатных лучах солнца, луну — либо не видишь вовсе, либо они возникают как щемящие виденья красочного мира, поглощенного войной.

* * *

Решение исполкома райсовета:

"Обязать председателей с/советов строго контролировать установленные дни и часы отдыха для лошадей, не допуская случая переутомления их. Считать обязательным отдых для лошадей 3 часа в обеденный перерыв и по одному часу в дообеденный и послеобеденный период работы. Через каждые шесть дней предоставлять 1 день отдыха, а более слабым лошадям через 4 дня. Запретить работу на лошадях с

травматическими повреждениями".

* * *

Из письма: "Ваня! Отдала Лизе твои часы носить. Надела и все рукав дергает".

* * *

Мысли о смерти начисто отсутствуют. Это в мирное время можно почувствовать ее неотвратимость, ужаснуться. А сейчас — перекрыто. Нет, нет и нет. Никаких предчувствий, никакой тоски. И вообще смерти как бы и нет вовсе, как нет умерших, а есть убитые. <31>

* * *

Моя хозяйка вспоминает словно с отдаления: "Пойди корову напои, говорит. Теперь ладно — сидим, ждем. Посидели с часочек, и вот тебе — немец". Что ни скажет, не просто слова — частицы какого-то сказания. С ней спокойно как-то, хорошо.

* * *

Сожженная деревня Залазня. Одни трубы. Здесь зимой немцы учинили расправу за связь с партизанами. Всех жителей выгнали из домов, заставили лечь на снег лицом вниз и расстреливали из автоматов. Команда поджигателей запаливала дома. Семья Сапеловых. Девочка шести лет, тоже лицом в снег. "Холодно". Мать ладонь положила ей под лицо. Бабушка легла на девочку и прикрыла своим телом. Бабушка убита первой же очередью. Брат, раненый, поднимается в полный рост. Убит. Мать ранена четырьмя пулями, но жива. Девочка под мертвой бабушкой жива, понимает, что нельзя шевельнуться, лижет матери ладонь, а мать, истекая кровью, не переставая шевелит пальцами — дает знать дочери, что та не одна. Так они лежат несколько часов.

Их спасли и спрятали у себя жители соседней деревни — парнишки и женщины, они пробрались сюда, когда стемнело.

* * *

Старая наша газета, годичной давности — 27 июня 1941 года:

"Наступит день, когда мы вместе пройдем по всему континенту. И тогда у могил тех, кто пал в бою, и на разоренных землях тех, кто остался в живых, мы вновь посвятим себя делу социалистического строительства…"

И неожиданная подпись: епископ Кентерберийский.

* * *

Мне иногда кажется, что я рвусь прожить множество жизней. Это, наверное, от недостатка воображения.

* * *

Спросили у него, как это ему удалось спастись от немцев.

— Я швыдко шел. <32>

* * *

Здесь все первично: хлеб, мычанье коровы, страх, простодушие, порыв, предательство, бескорыстие.

* * *

О чем говорят, когда немец не стреляет? Говорят, конечно, о любви. Но охотнее всего слушается какая-нибудь веселая, смешная, пусть и нелепая история. В цене балагуры, острое словцо, шутка.

Вчера один солдат развлекал рассказом.

Старик выпил флакон одеколона. Пришел на скотный двор. Жара. Одеколон из старика испаряется. "Уйди, дед, дрянью какой-то от тебя несет". — "Дрянью? Ты пойди, дурак, понюхай: барыней от меня, дурак, пахнет".

* * *

Разговор в избе.

— Они хорошо жили, у их вся обстановка.

— На Руси не все караси, есть и ерши.

* * *

Он долгим взглядом провожает собак-танкоистребителей. Узкие темные глаза тунгуса. Для его отцов и дедов, кочевавших с табунами диких лошадей, собаки были священны.

Собаки заливисто лают, рвут поводки. Их ведут на передовую. Там они помчатся под немецкие танки с взрывчаткой на спине…

* * *

Да, солдат налегке. У него ничего нет, кроме жизни, и ей он не хозяин, ею распоряжается приказ.

* * *

У немцев, у каждого солдата, — пачки фотографий, одинакового формата, шесть на девять, с зазубренными краями. Muti, Vati — мамуля, папуля. Любимая сестра. Завтрак честного семейства, велосипедная прогулка, трапеза в саду, толстяк дядя с мосластой женой и крошками детьми, черепичная кровля, добротный дом, увитый плющом. Невообразимый уют жизни. Довольство, самодовольство. Но главное — уют. Куда же они повалили, куда поперли от своего уюта?

* * *

— Погодите хорониться, поглядим. Если лошади в дышло запряжены, то немцы, если в дугу — то наши. <33>

* * *

— Парила бураки в русской печи, через мясорубку пропущу и муки добавляю — хороший хлеб, замечательный. Только мука — вся.

* * *

Солдат он и есть солдат. Стреляют, убивают, хоронят,

поднимаются в атаку, идут в разведку — это война.

А бредущие бог весть куда разутые, голодные бабы с котомками, с голодными детьми, беженцы, погорельцы — это ужас войны.

* * *

У нас тут у всех прочная уверенность, что, уж коль нас свела война, все мы друг другу предназначены и уж ничто нас и потом не разъединит, не разведет по своим кругам.

Капитан Т., залихватский малый, недавний милиционер, спросил:

— Ты что задумалась? О семье скучаешь? Вот война кончится, поедем с тобой в Новосибирск. Электричество, троллейбус, в театре люстра в восемь тонн. Прямо с вокзала на Трудовую.

* * *

— Теперь какая любовь! — раздольно сказала молодая. — На часок да на урывочек. — И было видно, что это по ней.

* * *

Стоит чуть оторваться от своей здесь повседневности, оказавшись на дороге пешком ли, или подобранной водителем машины, или на телеге, как захватывает необычайность, новизна, и пытаешься что-то записывать. Так что от тряски многое записано кое-как, буквы прыгают, слова громоздятся друг на дружку. Сама и то едва потом разбираешь.

* * *

В пасмурный полдень вдруг въехала длинная подвода, запряженная черной лошадью. Остановилась, развернувшись поперек улицы. Дядька в темном фартуке, в кепчонке с мятым козырьком привстал на коленки и странно так заголосил: "Ста-арья!" — такой <34> деятельный, хоть вроде бы дуроватый, а еще, как оказалось, когда слез с подводы, хромой.

Ребятня облепила подводу. Лошадь красиво била копытом. Над черной ее головой по дуге голубой краской: "Главвторсырье".

Дядька призывно щелкал кнутом по сундучку, вдвинутому в угол подводы.

— Раньше я ленинградские мулине привозил и что только пожелается.

Но теперь-то что же приволок в том сундучке? Не распахивает крышку, как бывало, — товар напоказ. Так, может, пусто там. Чуть приподнял крышку, сунул руку — и назад.

Ох как жадно, как сурово загораются глаза у мелкотни, обступившей его кулак. Раскрыл — на ладони куколка с вершок всего, голенькая, целлулоидная, помятая немного, живот придавило ей.

Где только отыскал, где подобрал ее?

— Ста-арья!

За килограмм утиля — пятьдесят копеек!

А еще-то что? Может, пистолет с пистонами, как случалось раньше? Взглянуть бы. Каску немецкую, утаенную, не пожалел бы любой паренек. Так не возьмет — нельзя ему брать ничего ни из трофеев, ни из нашего армейского.

— Ста-арья! — крикнул дядька, задрав голову на тучу, брызнувшую дождем.

Вся добыча его — сплющенный, обгорелый рукомойник да немного грязных тряпок на дне подводы. Так что с той куколкой — цена ей объявлена два с полтиной — он весь тут фронт объездит.

Он поехал по деревне, стоя в длинной подводе, профессионально неразборчиво и зазывно выкрикивая:

— Ста-арья, ба-арья, та-арья!

Выбежавшие из избы две девчоночки бежали за ним, таща чего-то.

— Дядь! Дядь! Едь сюда!

Он погонял, не слыша, все дальше уходя от них вниз по деревне под нахлестывающим дождем.

И скрылось это заблудшее видение прежней жизни: черная лошадь в лазоревом сиянии дуги, сундучок коробейника.

* * *

Дневная душа, перекликаясь с ночной, откочевывает, как только засыпаешь, оставляя ворох дня заступившей <35> сменщице. А та, ночная, — субтильней, чувствительней. И мытарит, мытарит…

* * *

"Ко всем гражданам.

Все граждане данного района, незаконно взявшие государственное имущество и ценности, а также личные вещи и имущество отдельных граждан в период вторжения немецко-фашистских оккупантов, должны немедленно и не позднее 20 мая 1942 г. возвратить указанное имущество, вещи, ценности их владельцам.

В случае невозвращения виновные будут привлекаться к ответственности по законам военного времени как мародеры и расхитители социалистической собственности.

Нач. РО милиции

сержант милиции — Тетерев".

* * *

Играла гармонь. Девчата молча танцевали с нашими бойцами. А в перерывах между танцами сбивались в кучку, перешептывались и тихонько всхлипывали от смеха. Гармонь смолкла, и стали расходиться. Ваня-украинец, протанцевавший весь вечер с одной девчоночкой, коротенькой, подвязанной кукушкой (косынкой со скрепленными под подбородком концами), с тугой косицей, подскакивающей по цветастой ситцевой спине между бугорками лопаток, крикнул ей вдогонку: "Это не любовь, что ты — домой и я — домой. А то любовь, что ты — домой и я — с тобой!" — под веселое ржание товарищей.

* * *

Бывалый солдат, вспоминает прошлогоднее:

— Я получил задание тягать макеты танков в район города Белый и Холма. Саперы изготовляли из фанеры и дерева макеты танков. Шесть таких танков цепляли тросом за мой танк, и я ети макеты таскал по тридцать — сорок километров по главным дорогам, попадая под обстрел корректировщика "рама", который ужасно фотографировал. На следующий день по етим дорогам валялись листовки: "Русь, тягаешь фанеру. Танки Гудериана под Москвой". <36>

* * *

Пистолет в руке — это какое-то особое ощущение. Тут и риск,

и тревога, и авантюризм — все в твоей ладони. Хотя еще не довелось ни разу стрелять, не обучена, но с ним упористее. Кажется, в случае чего найдется малое умение распорядиться собой, нажав курок.

* * *

— Муж, когда уходил, просил: "Дай, Катя, моим костям спокойно лежать. Не выходи замуж. У тебя такой характер, ты не сможешь сносить". Он, бывало, обувь скинет или ноги вымоет — в дом войдет: "Мне твой труд дороже моего". Таких нет, как он был. — И, помолчав, добавляет мечтательно: — Может, только еще какой один где-нибудь.

* * *

Приземистый, крепкий, с трухлявым саквояжем в цепкой руке, идет по деревне, глядя в упор под ноги себе.

Во-первых, странно увидеть исправного, здорового мужчину и не в летах, а не в армейском — в затертом тугом плаще, в темной кепке.

Во-вторых, вроде не бомбят, не обстреливают, а суета, напряжение, беспокойство и сумрак роятся по усадьбам, по избам при его приближении. Кто ж такой?

— Ценный человек, — хмуро пояснил старичок. — Наденет белый халат, и бык ему подчиняется. В штатской одежде не подходи.

Но это одна сторона полезной деятельности ветеринара. Другая связана с запретом по району всякого убоя приплода рогатого скота, овец, свиней, принадлежащего как колхозам, так и лично колхозникам, единоличникам, рабочим и служащим, поскольку большой ущерб нанесен войной общественному животноводству. И теперь этот человек в немалой степени вершитель многих судеб. Случись падеж, или травма, или хворь, или еще какая напасть, мало того горя хозяевам, еще жди, что тебе за это будет, как взглянет ветеринар. Сказано: привлекать к строжайшей ответственности да по нормам военного времени.

Фамилия этого человека — Кабанов, и за его подписью немало скопилось актов в сельсовете, что у нас <37> в избе за дощатой, не дотянутой до потолка перегородкой.

Сегодняшнее появление в деревне Кабанова завершилось следующим актом:

"1942 года 22-го мая.

Составлен акт на предмет вскрытия трупа павшего теленка у Ефимовой Марии Михайловны в присутствии дипутата с/с тов. Антонова В. И., возраста 1 м, пол телочка коковая пала от плохова питания вбольшом количестве и 2-е несвоевременно заявлено вет. ф. о помощи коковая была б устранена без ущерба. Было заявлено предсмертно посредством уколов и вправления грыжи теленок жил 3 дня. Но так было Сращение пятли кишки с соединительной оболочк. и воспаления брюшины дело безнадежное…"

* * *

"23.5.42. В течение ночи редкий арт. — минометный огонь и ружейно-пулеметная перестрелка".

* * *

Секретарь сельсовета — миловидная Тося. Работа чистая, не тяжелая. За то свекровь ругает ее "дворянка". И едко так о ней: "Тоська, водворянившись, сидит-посиживает, хоть ты что".

* * *

— Православные! Навались! — крикнул доброхот боец, помогавший толкать застрявшую машину. — И начальники тож!

* * *

К секретарю сельсовета Тосе поступают справки о смерти человека. Вот одна из них. Выдана непосредственно самому… покойнику:

"Справка. Дана настоящая Васильеву Егору Васильевичу, что он действительно болел крупозным воспалением легких с 26.111.42 по 4/IV.42 года и лечился в Морьинской амбулатории у м/ф Быковой.

Скончался 4/IV.42 13 час.

К чему заверяю

м/ф Морьинского пункта

М/ф Быкова

4/IV.42 г.". <38>

Вот так, не мудрствуя и безо всяких там церемоний.

"Акт о смерти Загораевой Прасковьи Ивановны в возрасте 75 лет", "от преклонных лет померла. Со стороны издевательств не было. В чем и расписуемся

Семенова, Макарова, Романова".

* * *

Наша листовка, рифмованная:

"Deutsche Soldaten, Lasst Euch raten.

Ruft den Russen zu aus der Weite:

"Sdajus, Towarisch, Ne strelajtel""

"Немецкие солдаты, советуем вам.

Кричите русским издалека:

"Сдаюсь, товарищ, не стреляйте!""

— Ишь как ласково напели, — сказал старшина, слушая непонятные немецкие слова. — А ты, — сказал мне, — лучше гаркни им в рупор: "А ну отъерзывай!"

* * *

Наша армейская:

По дорогам глинистым, по лугам Тверцы,

По полям калининским проходят бойцы.

Эх, полки стрелковые — храбрецы в полках,

Автоматы новые в молодых руках.

…

Мы полками вклинимся в линии врага

И вернем калининцам Волги берега.

* * *

Как животворно начало лета. Особенно после такой тяжелой зимы. Кажется, все предвещает только хорошее. И каждый день по-особому полнокровен. При всем том это — день войны.

Глава вторая
Лето

Перевожу немецкие статьи, обращенные к солдатам:

"На то была воля провидения… Чувство дружбы создает единство нации", "Любой немец по своим биологическим <39> данным неизмеримо выше любого другого…"

И секретный циркуляр хозяйственного штаба германского командования на Востоке:

"1… Немецкие квалифицированные рабочие должны работать в военной промышленности; они не должны копать землю и разбивать камни, для этого существует русский".

* * *

— Кто жить не умел, того помирать не научишь, — говорит о немцах женщина, выбравшаяся из Ржева с детьми и примостившаяся у людей здесь, в деревне. — Немцы ужасные трусы. Сидят обедают, или вечером бомбят — под стол прячутся. Даже смешно. "Матка, ляхен? Дом капут, матка тод!" Мол, чего смеешься, дом капут и саму убьют. А я: жарче! жарче! — призываю.

Она же о своем меньшом, который бессменно на руках у нее:

— Как старичок был. Изнеможенный скелет. Здесь так хорошо его подняли, так помогали, хоть у самих такая нехватка.

* * *

— У меня в дому немецкий начальник стоял. Ну и привели раз беглого нашего солдата. Из плена бежал. Схватили. Спрашивают: кто такой, как сумел убечь? А он отвечает не поймешь что. Немец ему по-своему: не сяки, мол, говори реже! А он сякет, он сякет, мне и то не понять. А прислушалась, слышу, так ведь он же по-нашему, по-матерному чешет.

* * *

Старосте грозили: "Шкура ты едтакая! Ну где-нибудь тебя расхлопают!"

Но неизвестно, не то успел уйти с немцами, не то схвачен.

— Он перед самой войной был забранный. Ему никак три статьи было.

— Хитер мужик. Только себе любил, а людей жал.

— У него никак со стеклом гардероб.

— Но теперь он повытряхался. <40>

* * *

На военных курсах переводчиков, минуя обучение стрельбе и всякому военному делу, мы странным, необычным образом, не с того как бы конца втягивались в войну, с ходу вступив в соприкосновение с противником: его немецкий язык, его зольдбух (солдатская книжка), уставы, команды, письма (как они томят нас своими письмами, эти немцы!), его замысловатый готический, его так трудно заучиваемые военные термины. И для усвоения языка как такового детские считалки и тошные диалоги: "Wo warst du, Otto? Где ты был, Отто?" "О, Карл, я совершил очаровательную прогулку в лодке по озеру". И Гейне: "Mein Liebling, was willst du noch mehr?" И наши репетиции допроса, когда мы поочередно были то самим пленным немцем, то допрашивающим его нашим командиром.

И вот когда предстояло отправиться на фронт, напитавшись, хоть и на скорую руку, немецким, я испытывала сжатие где-то в груди от страха, что, повстречавшись с настоящим пленным, окажусь вдруг свидетелем жестокости, насилия по отношению к нему.

В первое утро на фронте в перерыве между двумя оголтелыми бомбежками немцев я вышла из избы и увидела тянувшиеся по улице сани с раненым пленным. Я пригвожденно шла за санями. Они вскоре стали. Подоспев, когда ездовой уже выбрался из саней и что-то соображал, я, собравшись, громко спросила: "Вы его расстреливать везете?" — полагая, что это именно так. Усатый пожилой дядька хмуро глянул через плечо на меня, недобро бросил: "А мы пленных не расстреливаем" — и пошел за избу оправиться.

Я еще возбужденно спросила лежавшего в санях немца, откуда он родом. И услышала в ответ безучастное: "А! Чего еще надо!" — не расположенного к разговору раненого. И зашагала назад, проученная этим дядькой, унося с признательностью его хмурый презрительный взгляд.

Я тогда записала в тетради: "Войну выиграет тот, кто проявит великодушие", надеясь, что мы будем теми победителями.

Однако наш сильный и пока что удачливый противник давно изъял это понятие — великодушие. Только сила и жестокость. Мир все больше делится на победителя и поверженного без никаких градаций и <41> промежуточных категорий. Какое уж там великодушие. Все больше нагнетается вокруг и крепнет: против побеждающей силы и жестокости противостоять силой, оснащенностью и жестокостью.

* * *

— Контуженные двери.

* * *

Бумаги писчей у местных организаций нет. Протоколы заседаний колхозов, сельсоветов ведутся на обрывках обоев, на обложках, оторванных от исписанных ученических тетрадей, или прямо по газете (и тогда уже после ничего не разобрать), а также на обороте листков "От Советского Информбюро", печатаемых на серой бумаге в типографии Медновского района, теперь уже почти тылового.

На обороте старого сообщения — постановление общего собрания колхозников "Светлого пути" 28 июня 1942 года:

"Учитывая что наши доблестные воины сражаясь в битвах за нас и родину и освобождая нас от ига фашизма что в условиях теперешней войны решает техника чтобы наши сыновья отцы и братья шли в бой в стальных машинах всем подписаться насколько только возможно и все свои средства внести на постройку танковой колонны и поручить собрать пред, к-за Абросимову И. И.".

* * *

Мы на врага за древний Ржев
Обрушили свой русский гнев,
И на приволжском берегу
Мы срубим голову врагу.
(Наша армейская газета "Боевое знамя")

* * *

Верхом на стволе пушки — артиллерист с крестьянской косой, литовкой называют ее сибиряки. На артиллеристе пилотка, гимнастерка — все военное, а мне трудно представить себе его стреляющим из этого огромного орудия. Косарь. <42>

* * *

Все те века, что Ржев трепала война, что то или иное неприятельское войско стояло под его стенами, разоряло его, История не спускала с него глаз. И высветлила нам все повороты, злосчастья, удачи и поражения военной судьбы города, сопровождая датами, именами предводителей войск. Но стоило городу войти в столь длительную полосу мирного существования, когда неприятель 328 лет не ломился больше в его ворота, не опустошал его, и он словно выпал из поля зрения Истории.

А мы-то полагаемся на Историю, она-де вникнет, рассудит. Тогда как избирательный интерес ее приковывают броские ситуации вооруженных конфликтов, динамичность сюжетов войны. Хотя ее, Истории, основные движущие силы действуют далеко не всегда на открытой поверхности этих событий, а подспудно. И выпавшее из ее внимания трехсотлетие безмолвия Ржева — ни одного залпа! — вобрало капитальные, историообразующие процессы русской народной жизни, к которым тесно причастен Ржев.

* * *

Немцы называют Ржев — "неприступная линия фюрера".

* * *

В битве не состарится,
Не умрет герой,
Кто за Ржев и Старицу
Дрался с немчурой.

* * *

— А травы густые и косить ни к чаму.

* * *

В деревне забирают в Красную Армию молодых ребят.

— Ой, сынок желанный!

— Ты, матушка, ня ной. Мне долг надо отдать на фронте.

— Ой, сынок. Ты смотри уж нядолго. Может, будешь жив…

— Как управимся.

* * *

14 августа прошлого года, когда Ржев подвергался впервые вражеской бомбардировке с воздуха, город был объявлен в угрожающей зоне. <43>

А потом, в октябре, в сводках появилось Ржевское направление.

Ржевское направление — это началось сражение за Москву. И вот уже сколько месяцев оно длится ожесточенно. Все, что происходит на нашем участке, у Ржева, грозно связано с Москвой.

Сейчас, когда немцы так рванули на юге и так нужны там силы, чтобы остановить их, закрыть прорыв, войска шлют и шлют к нам сюда, под Ржев. На прикрытие Москвы.

* * *

"Слушали гражданина уполномоченного РО НКВД Акимова: в условиях Отечественной войны тыл имеет огромное значение. Противник в целях ослабления тыла засылает шпионов с целью поджога колхозных амбаров, скотных дворов и др. имущества. Членам колхозного заградотряда необходимо быть бдительными, не пропускать без проверки документов ни одной личности, а в отсутствие последней — задерживать и доставлять в РО НКВД".

* * *

— Мне приснилось, косы у меня по заднице. К чему бы? К чему-то ведь должно быть. (Это Дуся, штабная машинистка.) Может, дорога мне дальняя, назад к дому, а?

* * *

Удивительно, как любая косыночка, щербатое блюдце, махотка, платочек, чернильница-невыливайка, кочерга, каждая вещь, как бы ни поизносилась, становится невообразимо замечательной, со своим неповторимым лицом, индивидуальным свойством, личным обаянием, каким отмечено все то, что не может быть повторено теперь. И обиходные вещи, довоенные изделия трогают и волнуют.

* * *

Покос. Женщины идут с косами, граблями. Косить здешним женщинам привычно — мужчины ведь уходили "на посторонний заработок".

Но вот пахать на себе, как было в эту весну, — это <44> уж новь военная. Оккупация прошлась по этой земле.

— Мы как кони, — говорят о себе. — По десять в плуг впряжемся. Одиннадцатая качает. В борону — по пять человек. Один такой раз боронуем, бык бежит. Мы разбежались. Смеемся: кони разбежались.

* * *

Наше понимание, воюющей части народа: все для нас, все нам дозволено по сравнению с мирным народом. Но какой же это мирный народ, подпавший так жестоко под иго войны, как не всякому солдату доводится.

* * *

Когда началась война, внешние признаки вещей оставались прежними, а существо изменилось. Так, завод, куда я поступила, был все еще 2-м часовым заводом, хотя часы на нем не производились, а гильзы. Подвал под нашим домом, где раньше хранилась картошка, оказывается, ждал нас в свое бомбоубежище.

Таинственная душа вещей вдруг обнаружилась.

* * *

— Он меня матюгнул по-хорошему. Я поднялся, пошел в рост на врага.

* * *

"Исполком райсовета решил:

1. Оформить и передать материал следственным органам о падеже лошадей в колхозах "Заря коммунизма" и "Серп и молот" для привлечения к ответственности руководителей колхозов за варварское отношение к коню".

* * *

Чтобы деньги водились, высушенные свиные пятачки хранят в шкафу среди белья. Так издавна ведется в Ржеве.

* * *

Вечернее сообщение:

"В течение 3 июля на Курском направлении наши войска отражали крупные ожесточенные танковые атаки немецко-фашистских войск… <45>

После восьмимесячной героической обороны наши войска оставили Севастополь…"

* * *

Здесь, в деревнях, не было ни электричества, ни радио, а теперь уже само собой их нет. Но какими-то путями вести о неблагополучии на юге достигают сюда, и порой они выразительнее, чем сдержанные газетные сообщения.

И все же это смутно, это где-то там, на окраине страны, как кажется отсюда местным людям. А здесь война вблизи самого ее сердца — Москвы.

И если немец там где-то и осилит, еще не вся беда. Но если на этот раз немец двинет на Москву и захватит ее — "это ж разом загорится и небо и земля".

Падение Москвы — это конец света, а не факт войны.

* * *

Железная баночка с фитилем. Плошка.

— Нам немецкие зенитчики оставили. Хорошая такая штучка.

— И долго служит?

— Долго, долго, что вы.

* * *

Раненые бредут с передовой спотыкаясь, поддерживая один другого, волоча винтовки.

Повстречавшаяся с ними старуха замерла, согнутая под связкой хвороста на спине, следя за ранеными слезящимися глазами. И вдруг так сильно, горестно:

— Взойдет кто им на подмогу?

* * *

— Царица небесная! Заступница!

* * *

То время, что здесь были немцы, отогнанные еще в нашем зимнем наступлении, в сознании местных людей — прошедшее законченное.

То была как бы война в войне. Та, бывшая, пережитая ими война — в нескончаемом потоке длящейся, общей.

— Все было, — говорят про ту, прошедшую. — Огонь и страсть! <46>

* * *

Плотность жизни на единицу времени велика сейчас. Иногда крайне велика.

* * *

Молодая бабенка при виде тощего, длинного, изможденного немца, пленного:

— Боже милостивый! Страшно глянуть. Худой до ужаса.

А ведь мнится, что немцы, допершие сюда, чуть ли не к самой Москве, и на юге заглатывающие наши земли, уж они-то жируют вволюшку.

* * *

Ведь вот что нелепо: то, другое, третье, все такое дельное, важное, знаменательное — все износится. А какая-нибудь чепуха на ловком ритме: "Аты-ба-ты, шли солдаты" — вечна.

* * *

С петляющих между палатками и блиндажами, вырубленных и вытоптанных просек ступнешь бесцельно шагов пять-шесть всего в чащу — и выпал из войны, рухнул во все зеленое, земное, неразличимое в подробностях. Бог мой, какая благодать. Эти краденные у войны мгновенья.

Ich ging im Walde…

…

Das war mein Sinn.

Дальше не помню.

О Гёте. Такая гармония духа. Его лесное уединение нарушит разве что герцогский охотничий рог. Но не этот железом о железо полосующий набат:

— Воздух!

* * *

— В лесу налило лужами. Самсон-сеногной.

* * *

Комиссар бригады прочитал лекцию на тему "Ненавидеть врага всеми силами души".

Задавали вопросы:

— Почему мы не наступаем? Своим наступлением мы помогли бы Южному фронту. <47>

* * *

Лупит дождь. Бойцы сообща с бабами гатят топкий участок дороги. Шутки, гомон. Натаскивают хворост, лапник, жерди.

Какой-то проверяющий начальник подъехал верхом, напустился на старшего: мол, кое-как пошевеливаетесь.

— У тебя вон солдаты морды отъели! — И, стравив досаду, отвернул коня и, наддав ему в бока стременами, ускакал.

А тут смолкло, сникло, заело. Одна приметливая и мудрая баба рассудила так:

— У него морда оспой потревожена. Его и колет. У вас-то личики пригоженькие, безо всякой щедринки. — И примирила с ним.

* * *

В лесу утром. Солнечные блики на шевелящихся листьях. И на вытоптанной поляночке в утреннем нежном мареве покачиваются, стукаются друг о дружку ромашки.

И вдруг — подхватывает, уносит в дачное Подмосковье. Вмиг — захлеб счастьем.

За кустом на крокетной площадке — переночевавшие деревянные полосатые шары. Покачивается гамак. Призывный плеск и возгласы с озера, что там невдалеке, за лесом. И надо всем радостное воскресное ожидание: сейчас приедет, сейчас появится тут — папа.

* * *

В девушке на фронте есть некое щегольство. И в самом факте присутствия ее здесь, в зоне смертельной опасности, и в том, как заметна она в однородной мужской массе, и нередко подчеркнутостью внешнего облика, молодцеватостью или, наоборот, вопреки всему сохранно проступает в ней женское, женственное. Словом, в ней есть повышенность.

Но вот женщина постарше меня и более, чем я, тяготеющая к мирной, регулярной жизни высказалась так:

— Женщина огрубляется на фронте. И не из-за условий лишь. Больше всего из-за того, что нет у нее самых что ни на есть простых женских тягот. Не отягощена. А война ею завладеть не может — это она только мужчиной. А ею не может, и все тут. И в душе <48> у нее неприбранно, неприкаянно, все так и болтыхается. Только не всякий раскусит. А я сужу по себе. У меня характер совершенно изменился. Какие-то порывы ни с чего… Теперь вот еще что: из молчаливой я превратилась в болтушку…

* * *

В специальной радиопередаче из Берлина для немецких солдат в Ржеве, я слышала, опять пели: "Когда все рухнет вдребезги, мы с песней прошагаем по руинам чужих городов…"

* * *

"К периоду осенней распутицы требуется постройка деревянного покрытия (жердевого или колеинового) как основная армейская дорога, имеющая интенсивное движение автотранспорта. Требуется ремонт отдельных мелких искусств, сооружений и т. д…"

* * *

Двое ездовых:

— Еду. Куда это заехал? Никакой видимой линии фронта мне не было. Ах так, думаю, ну, прости мне, господи, за прошлое и напредки тож. Как размахнулся, как стал я их прикладом охаживать…

— Ври давай.

— Не веришь?

— Поверишь хоть себе, хоть кому, когда в землю ляжешь.

* * *

Лес странным образом живет в своей стихии, как ни вытоптали мы его, ни покалечили, бесцеремонно вторгшись.

Пригнешься — господи, черника! — низкие, густые, крепенькие кустики дружно устилают лес. Воздух раскален, пахнет смолой и нагретыми сухими сброшенными сосновыми рыжими иголками. Пылает бузина — так неправдоподобно, так празднично. Снуют растревоженные птицы, еще привязанные к гнездам.

Кто-то ползает, кто-то над головой шарахается с ветки, кто-то где-то тут кого-то выслеживает. Вот он, лесной мир, еще в целости!

Не зевай и сам, вываляй морду в чернике, потворствуй комарью, черпни котелком из бочажка зацветшую <49> воду. Живи! Пока не занудит металл. Тут уж вместе со всем, что трепещет, ползает, жужжит, клюет и кусается, ты в лесной западне. И — что бог даст.

* * *

Дважды два — четыре фрица
Вышли к Волге за водицей.
Дважды два — четыре пули,
Фрицы ноги протянули.
(Наша армейская газета "Боевое знамя")

* * *

На переднем крае слышно: немцы поют по-немецки нашу "Катюшу". Недисциплинированность, что и говорить. Существует ведь циркуляр главного штаба вермахта (военно-научный отдел) от 24 сентября 1941 года. Он достался мне:

"Согласно сообщению отдела печати имперского правительства, исполнение произведений русских композиторов впредь запрещается.

Также публичное исполнение русских народных песен и рассмотрение и упоминание в прессе произведений русского происхождения является недопустимым".

* * *

Ночью включишь радио: женский бесстрастный дикторский голос: "Кро-во-пролит-ное сраже-ние на юге. Точка. На-ша ро-ди-на в опас-нос-ти. Точка. Повторяю. Наша родина в опасности. Точка".

Эту вытяжку из газет принимают сейчас радисты в партизанских лесах.

Механический, бесцветный радиоголос со всей неотвратимостью гвоздит и гвоздит по сердцу: "Судь-ба нашей стра-ны решается в боях на юге. Точка. Повторяю. Судьба…"

Тишина за палаткой. Хруст сучьев. Возгласы часовых.

* * *

На рассвете 30 июля, еще до назначенного часа наступления пошел дождь. Все было наготове, и наступление не отменялось.

Артиллерия двухчасовой подготовкой обрушилась на оборону врага. Два месяца накапливались в армейских <50> складах снаряды, чтобы грохнуть по врагу, смять его оборону.

Дождь то затихал, то снова неистово лил. В бой пошла пехота, танки. Немцы побежали. Их преследовали полки. Танки вырвались вперед, но стали в размытой дождем низине. Самолеты не могли подняться в воздух, и артиллерию засасывало в болотной жиже, и она не могла передвинуться на новые позиции. Пехота осталась одна, без поддержки.

Немцы отступили на вторую линию обороны и опомнились. Ожесточенный шквал огня ударил по нашей пехоте. Пехота залегла. Немцы шли в контратаку. Наша пехота отбилась, вгрызаясь в землю.

Ночью тягачами тянули из низины засосанные танки назад. Противник в темноте густо садил снарядами по низине.

* * *

Задача наша, ржевского плацдарма, — не допустить отвода отсюда немецких дивизий на юг, сковывать их силы здесь, вызывать огонь на себя, навязывать бои, вынуждать их оттягивать с юга сюда против нас дивизии на подкрепление.

А сверхзадача — прикрывать Москву. И для этого — выбить их из Ржева.

* * *

— Четвертого августа снова в наступление. Наше направление: Погорелое Городище — Ржев. Еще в таких тяжелых боях не доводилось. Мы форсировали Рузу, Вазузу. Места заболоченные, и как кто нарочно: повседневные проливные дожди. Танки, артиллерия, склады — все отстали от пехоты. На руках пришлось носить боеприпасы, продовольствие. Все воины, мы день и ночь под дождем, мокрые, но духом не падали. А как взяли Погорелое Городище — сбили на станции ихний фашистский флаг и вывеску немецкую, и за этим делом как раз нас фотографировали корреспонденты.

* * *

— Это ведь только сказать легко: убьют, укокошат. А подумать только, что не кого-то, а тебя самого — и убьют. <51>

— А по мне, хоть ты кто будь, а терпи.

— Ах ты, Еноха-праведный.

* * *

Я отпала от прежнего мира — от дома, семьи, друзей. Тут все иначе. Попутчиков тут не выбирают. Какие есть — и те погибают.

Номер газеты "Фолькишер беобахтер": "6 августа 1942 г… и сегодня враг под Ржевом во взаимодействии с сильными бронетанковыми частями продолжал свои наступательные действия, расширяя их на соседние участки фронта. Сильные бои продолжаются".

* * *

— Дождик прошел.

— После дождика тё-опло. Грибы пойдут.

* * *

Поначалу вся напасть войны олицетворилась в Гитлере. Бандит, душегуб, ирод проклятый — из-за него все муки войны.

А по мере того как длится и ширится война, немецкие солдаты, их смертоносная армия, танки, мотоциклы, самолеты со свастикой, захват наших земель, насилие, ненавистью разжигающее душу все немецкое и все немцы воссоединились с Гитлером, в нем. Гитлер — это теперь коллективный образ фашистов.

* * *

О последствиях своего проступка обычно говорили:

— Дальше передовой не пошлют.

Теперь чаще услышишь:

— Дальше смерти не пошлют.

* * *

Написала в письме к родным: "Я здорова, бодра, вполне освоилась и подготовилась ко всему происходящему". Хотела добавить что-нибудь, но не смогла. Само собой, и цензурные соображения, но больше душевные причины.

И не выговоришь о том, как живешь. Страшишься фразы.

Ведь почему-то сейчас, когда на юге все тяжелее и судьба войны тревожнее, — а может быть, именно <52> потому, — я живу с таким воодушевленным духом, вблизи бед и жертв, с готовностью к ним с какой-то непонятной, хмельной просветленностью и с такой горечью и теплом, что, вероятно, все это вместе называется — патриотизм.

* * *

Наш командарм Лелюшенко передал наверх боевое донесение: "Продолжаю выполнять прежнюю задачу, вести усиленную разведку с задачей захвата контрольных пленных и действовать отдельными отрядами, не допуская отвода сил противника с фронта армии".

* * *

Красноармеец, бежавший к щели, впопыхах, должно быть, обронил пилотку. Подполковник остановил его и давай распекать:

— У нас в деревне такому головотяпу указали бы: надень шапку, а то вши расползутся.

А над лесом уже черт-те что делается: разворачиваются, скрежеща, заходят на нас.

А красноармеец стоит по стойке "смирно", и подполковник словно и не прислушивается к самолетам, гудит свое.

* * *

Ведут фрица, зеленого в зеленом, всклокоченного, белоголового вражину в сапогах с прикрученными шпагатом рваными голенищами. Фашиста, сатану, гитлера — ведут.

Никто не упустит взглянуть на него. И взгляд у всех разный. И с бешенством, и с ухмылкой удовлетворения, и со снисходительностью к потерпевшему, и с угрюмым сочувствием, и с мстительным опасным прищуром, и с веселым — эхма, наша взяла! А еще и общее у всех во взгляде — любопытство.

Полог палатки опустился за немцем — развлечению конец. Кто сумел — ухватил, остальные не поспели.

— Во Франции в городе Божанси мы охраняли военнопленных-негров. О, это были славные пленные. Негры —

большие дети! Там было хорошо.

Немец возбужденный, весь шарнирный какой-то, <53> руки и ноги выкручиваются туда-сюда. Моему предложению сесть на чурбак не внял или не услышал, спешит все выпалить.

И вот после Франции этот дьявольский поход в Россию, ваши болота и зима, партизаны. И вот что хуже всего — он вторую неделю на передовой. Это же дерьмо — убивать друг друга. Кто это придумал, пусть сам и воюет. Война вообще для тех, кому делать нечего, или для юнцов, которым заморочили головы, а он сыт по горло, и у него есть специальность, он столяр-краснодеревщик. И скажите, что за выгода ему или его жене, если будет победа, а он — мертв. Это же ясно как божий день. И он рад со всей, поверьте, искренностью, что его захватили в плен и покончено для него с этим походом. Война как-нибудь обойдется без него. И ему повезло, что вот он разговаривает с военной женщиной. Женщина в таких особых его обстоятельствах — это добрый знак, это знак милосердия, и он надеется, ему сохранят жизнь, а он не зря будет есть русский хлеб в плену, он готов работать и работать, как только немцы умеют. И — не австрийка ли вы, фрейлейн, так похожи!

— Нет, не австрийка. Еврейка.

Он замолкает, цепенея; его белая всклокоченная бедная головушка клонится, клонится, словно подставляя себя под расплату.

В палатке, где нас двое — он и я, — такая тишина, что слышно, как падает вода из рукомойника, прибитого снаружи к дереву.

* * *

Чтобы дым не вывинтился над лесом и не выдал наше становище, походная кухня поддерживает медленный, осторожный огонь. Листва глушит, валит поднявшийся дым, и его вкрадчивый съедобный запах, сочащийся по выломанным, вытоптанным просекам, чует наш звериный ликующий нюх.

Позвякивают пустые котелки на просеках, стягивающихся к железному чреву на походных колесах. И чего б там в нем ни было — с пылу с жару, — только давай. Присев на пеньки, на землю, на сваленные деревья, уписываем смачно, истово, как на последнем пиру.

А поперек пиршества — кольнет. Именно в эти <54> мгновенья так остро, с мукой увидишь, как где-то далеко отсюда твои близкие хотят есть, а есть нечего.

* * *

На дороге повстречался раненый. Идет с передовой в медсанбат. Рука забинтована. Возбужден.

— Смеху полный карман. Здравствуй, милая. Немец-то драпает.

* * *

От Советского Информбюро. Вечернее сообщение 28 августа: "В течение 28 августа наши войска вели бои на окраинах города Ржева, юго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинграда…"

* * *

В немецких частях здесь каждый солдат лично подписывает клятву фюреру, что не сойдет со своего места у Ржева. Ржев отдать — это открыть дорогу на Берлин, так все время повторяет их радио.

* * *

Какая-то ржевская толстая предприимчивая женщина шьет верхнюю одежду. Вокруг нее клуб. Судачат, смеются. И вдруг сухой, надсадный голос надо всем тут гомоном:

— Будем ли когда хлебушку кушать?

* * *

Молоденькие бойцы пополнения. Из-под пилоток — выбритые затылки. Какая-то пронзительная незащищенность.

Ржев — это прорва. Кидают, кидают в бой. Сосчитает ли кто когда-нибудь, скольких он поглотил.

* * *

Наверное, чтобы вынести, стерпеть многое из того, что видишь, к чему причастен, и еще оттого, что сам тоже под смертью стоишь, душа выставляет заслон, тупеет. Может быть,

потом, если уцелеешь, многое в памяти будет заметнее, различимее, навязчивей.

* * *

Сегодня по радио, я слышала, немцы пели: <55>
Мы солдаты будущего,
Все, что против нас,
Упадет от наших кулаков.
Фюрер, мы принадлежим вам.

* * *

— Дед, чего все бормочешь? Не за нас ли, грешных, молишься?

— …против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной… А за вас с чего?

* * *

Шел дождь. Эта ночь — для разведчиков. А наутро выяснилось — дороги непроходимы. Снарядили собачью упряжку с лодочкой.

— Гляди, брички всех фасонов в ход пошли.

* * *

Вошли в деревню.

— Дед, а дед, твой зять где делся?

— А он дожидаться не стал, пока вы обратно вступите, убег.

— С немцами, что ли?

— А кто его знает, убег, и все.

* * *

Из-за фронта дошло, из немецкого тыла:

"Земля — крестьянская, леса — партизанские, шоссе — немецкие, а власть — советская".

* * *

Что едят?

— Всяк по-своему. Кады как придется. Из лебеды. С клевера шишечки оборвешь, крапиву паришь, сушишь, толкешь. Головина со льна, когда отвеется, — моешь, сушишь, толкешь. И головин-то не наберешься вволюшку. Хуже всего мох. Натаскаешь, насушишь, толкешь. Просеешь на решете. Мох — это плохо. Хуже всего.

* * *

— Теперь, спаси бог, если еще вакуируют. Все уехавши. Мы одне. Кому ж мешаем. А стреляют, так ведь не узнаешь, авось опалит, не убьет. <56>

* * *

Там, где проляжет железная дорога, — "полоса отчуждения": по обеим сторонам полотна человеческое жилище отодвинуто не меньше чем на пятьдесят метров.

А у войны нет колеи. Напролом, по живому. И никакой "линии отчуждения".

* * *

Наша армейская газета вышла с шапкой:

"У нашего воина такая натура —

И штык молодец, и пуля не дура".

* * *

— Плуты, — сказал дед о немцах, — чешут без памяти отсюдова.

* * *

Говорят, Иван Грозный любил охотиться в этих местах, где теперь наш фронт.

* * *

В соседней избе плачут — пришла похоронка. О погибшем сказали мне:

— Если б он был отстающий. А то красивый, волосы вьющиеся, нос курносый. Как выпьет — рубаху напополам.

* * *

Все время слышишь и сама твердишь: наша армия прикрывает Москву. До Москвы от нас рукой подать. Но на самом деле Москва — за тридевять земель, в памяти о ней.

Помню.

Прошлым летом. Уже война. Уже было сказано: советский народ постоит за отечество, честь и свободу. Уже машины с иностранными флажками промчались по улицам, вынося из нашей беды посольские семьи. Я — в молчащей толпе возле репродуктора у Никитских ворот. Диктор объявляет: угрожающее положение. Напротив реклама кинотеатра повторного фильма: "Когда пробуждаются мертвые".

Еще в первый же день войны помню: шторы. Выданы всем. Темные, тяжелые, откуда только взялись, из какой-то плотной и прочной бумаги, какой в <57> обиходе не видывали. Приколачиваем, прилаживаем, завешиваем окна, маскируем свет. Теперь уже до конца войны.

Теперь все, что ни есть, что ни сделай, за что ни возьмись, на все одно мерило — до конца войны. Вот выутюжила брюки:

— На вот, носи теперь до конца войны.

Новое понятие времени. Не настоящее, не будущее, а протяженное в будущее настоящее, и даже не в будущее, а в заклинание о будущем, о конце войны. И заклинание-то еще вполсилы. Еще взбудоражены, ошарашены, озадачены новью. Так вот она, значит, в самом деле — война, под знаком которой жили. Но еще все целы, живы, еще не хватили войны. Вот только темные шторы. И ни огонька в окнах, ни света уличных фонарей. Так ведь — солнцестояние. И без искусственного освещения поздний сизо-серый город ближе к душе.

Уже Черчилль сказал: "Мы будем бомбить Берлин днем и ночью".

Уже первые бомбы упали на Москву.

Уже введены продуктовые карточки.

В городе убывает то, другое. Но город же открывает нам свои неизведанные объемы и плоскости.

Свои крыши, на которых мы, взметнувшись над землей, дежурим, подстерегая зажигательные бомбы, захваченные нашей бойкой задачей, и красотой ночного неба, исполосованного прожекторами, прошитого цветными нитями трассирующих пуль, и ночным воздушным боем над головой, и захлебом зениток, и цоканьем по крыше осколков их снарядов.

Свои подвалы, куда спешащим по тревоге людям указывают дорогу бессмертные на своем посту мужчины и женщины с противогазами через плечо. Где слышны с улицы разрывы бомб, где плачут дети и всхлипывают женщины. Где мальчик лет шести, стоя возле матери, сидящей на полу с завернутым в одеяло укачиваемым ребенком, держа мать за плечо, медленно внушает, выпячивая губы:

— Не сбомбят. Это они шутят.

А красноармеец, явившийся в нашу клеть:

— Товарищи мужчины и женщины! Впервые в истории немецкие самолеты над Москвой… Эти бандиты хотят вашей крови и крови ваших детей, ни в чем не <58> повинных… Мы, которые живем по программе Маркса — Энгельса…

Мальчишка, скинув с себя одеяло, голый — не успела мать одеть его, — заворачивает в одеяло своего котенка, укрывая от бомб.

Женщина с прямыми черными волосами до плеч, сидя на полу с двумя детьми на коленях, уставившись в потолок, что-то шепчет. Рукой, охватывающей ребенка в одеяле, с трудом дотягивается до его живота, потихоньку крестит. Смотрит на белобрысую головку старшего мальчика и целует его. По щекам ползут слезы.

Но город не накрыть разом, не спрессовать войной. Состав жизни в нем не уплотнен, как здесь, на фронте. Город многослоен. И еще нерасторжим с недавним прошлым и, значит, не весь в войне. Но и обыкновенные черты городской жизни необыкновенны теперь. Запах цветов табака во дворе нашего дома. Срывающиеся на город из глубокого теперь неба звезды. Ведь уже август — звезды падают. (Я записала тогда в августе в тетради: "Запомнить, все это действительно так и было: и табак, и советская власть, и звезды падали".) Почтовый ящик на входной двери с открыткой, извещающей о начале занятий в институте 1 сентября, как обычно. Неизменные со школьных лет маршруты трамваев, троллейбусов. Маленький ресторан на Тверском бульваре, куда случайно загнал дождь и где, оказалось, поют все еще, хрипло, надрывно поют цыгане. Городские часы на Пушкинской площади, не остановленные войной, — маяк всех наших свиданий.

В затемненном городе ветрено. Темные окна домов схвачены накрест бумажными полосами. (Почему-то здесь, на фронте, в деревнях никто не уповает на них и не клеит на окна.)

Небо отчужденно фиолетовое. Но как уютен город.

Последние минуты наших последних свиданий стекают с тех часов на Пушкинскую площадь, по которой ведут огромное, послушное, серебристое животное — аэростат воздушного заграждения.

Мы не придем 1 сентября в институт. Мы прощаемся с городом. Мы уходим безвозвратно. Потому что когда мы вернемся, это будет уже другой город. <59>

Глава третья
Осень

На 31 августа 1942 года: "В 215 сд — в стрелковых полках осталось по 40–50 штыков" (донесение).

* * *

— Эва, птюшки полетели. Осень пришла.

* * *

Лавиной идут наши войска сюда, под Ржев. Переброска с одного участка на другой тоже днем. Войска идут открыто, громко. Это входит, вероятно, в задачу: устрашить противника.

* * *

Осенняя тишь. Лазурное небо. Томительное безлюдье странно уцелевших рядов изб. Жителей немцы угнали заранее, а поджечь деревню не успели — выбиты внезапно.

Здесь работала немецкая прессовальная машина. Машины нет. Остались горы спрессованной плитами соломы — готовились вывезти в Германию.

В сарае. Столом и табуретами нам служат те же соломенные плиты. Нас двое: я и пленный — рослый немолодой немец. Обычные вопросы к нему: об огневых точках, о стыках частей, о пополнении и прочем. И всегда что-то еще сверх того, хотя и впустую: зачем, к примеру, пришли сюда?

Он вдруг встает, загородив собой проем распахнутой двери — в сарае становится почти темно, — с торжественной решимостью говорит добросовестно: это веление фюрера — Россия должна пасть, чтобы мы могли разбить своего главного врага — Англию.

Я вдруг чувствую, как в эти минуты реальное и фантастическое сомкнулось. И что мне не забыть: запах соломы, аккуратные желтые плиты — дикий союз кровавой бойни и деловой хозяйственной рачительности, — пустынность улицы, нежнейшее небо, прощальное солнце, мучительное соприкосновение с врагом-невольником и его черный силуэт в

дверном проеме сарая, где мы двое так противоестественно, дьявольски повязаны. <60>

А в голове сам по себе тренькает игриво мотив их солдатской песенки: "С войной спешим на Англию, а скачем на Восток".

* * *

— Товарищи бойцы и командиры! Полуразбитый немец нашел свое убежище на правом берегу реки Волга, используя при этом крутые берега реки Волга и ее водную преграду. Здесь он прорыл себе глубокие траншеи, построил землянки в четыре-пять накатов, окутал себя проволочными заграждениями и минными полями, чтобы спокойно и долго защищаться от русских. Не на таких напал! Товарищи бойцы и командиры! Невзирая на все это, на все его старания, выкорчуем немца без остатка отсюда, с нашей матушки Волги! Освободим русский город Ржев!

* * *

Выдвинутая вперед саперная часть ночью натягивает колючую проволоку, минирует…

Днем "загорают". Воды зачерпнуть котелком можно только в озерке на ничейной земле, покуда не заминированной. Спускаются к этому махонькому озеру на виду у фрицев. Потом в очередь с ними немцы, по двое, по трое туда же направляются за водой. Еще и присядут, ополоснут лицо на виду у наших. Командир саперов увидел такое, взвился:

— У меня что тут — хозяйство или балаган? (Хозяйством называют обычно по телефону войсковую часть.)

Потом вдруг махнул рукой примиренно.

Я знаю этого отважного малого, он такой цельный, что не дробится ни на какие частности. И этот жест — большая уступка самому себе.

* * *

— Летом мне очень понравилась здешняя территория: небольшие лесные рощи, лужайки, много трав и цветов, в лесах и рощах много птиц, а особенно кукушек и соловьев. Все гудит днем и ночью от их песни.

Потом, когда начались бои, наша часть была на

возвышенности. Город был совсем близко. Над городом Ржевом днем и ночью непрерывно был гул от взрывов бомб, снарядов и мин, пыль и дым высоко <61> поднимались в облака, город горел днем и ночью, и все это можно было наблюдать не только в близости, но издалека.

* * *

В уцелевшие стекла окон ударяют волны разрывов.

— Обратно немец палит. Размахался. Очертел совсем.

* * *

Калининский фронт, 12 сентября (ТАСС):

"…"Клянусь, что каждая пуля моей винтовки попадет в сердце врагу", — сказал, получая оружие, гвардии ефрейтор узбек Мамадали Мадаминов — мастер снайперского огня".

* * *

— …под проливным дождем бомб, снарядов, мин и пуль. До того тут летом были ожесточенные бои за город, что в реке Бойня текла красная вода…

* * *

У разоренного дома валяется чугунок. Кошка улеглась в нем, спит. И так понятно, что живому существу, привыкшему к дому, нужно "окантоваться". Нужно выделить из хаоса "свой дом".

Эту кошку, приблудившуюся, хозяйка кое-чем подкармливает и говорит, что у нее сперва блохи были, а теперь их нет.

— Нужды у нее не стало, они и ушли.

* * *

— В шесть часов за ними на машинах и вывозили немцев. А наши бомбить, расстреливать начинают. По нас бьют.

* * *

В городе и окрестных деревнях среди немецких солдат и нашего населения курсируют слухи, что Гитлер вот-вот приедет в Ржев. Вчера и вовсе — что Гитлер якобы на прошлой неделе был в Сычевке, выступал и сказал: "Ржев ни под каким видом не отдавать". <62>

* * *

Трофейный документ: "Приказ по пехотному полку. Прифронтовая полоса, примерно в пять километров, должна быть эвакуирована".

* * *

— Слово матерное у нас это нипочем. Это слово утвердительное.

* * *

Приказ: немедленно отступить в лес в связи с опасностью, что немцы отрежут хутор. Эвакуируют население.

— Мы кричать стали, чтобы нас не вакуировать. Тогда тот военный сказал: "Куда еще хлестнет. Погодить надо. Мы ведь точно не знаем, что мы его, а может, он нас". Ну и тогда мы не стали больше. Кричи не кричи, а надо, выходит, по его.

* * *

Год назад под Москвой на оборонных работах, когда женщины рыли противотанковые рвы, над их головами летали низко немецкие самолеты, строчили из пулеметов, сбрасывали листовки:

Московские гражданочки,
Не ройте ваши ямочки.
Все равно наши танки
Не попадут в ваши ямки.

* * *

Когда началась война, прохожие на улицах Москвы стали

разговорчивее друг с другом.

Под оркестр, или молчащим строем, или с песней батальоны мужчин уходили вдоль по улице на войну. И все мы останавливались, застревали на этих прежних улицах под током высокого напряжения войны. Застигнутый на тротуаре старик в чесучовом, царского времени пиджаке, заслышав солдатский чеканный шаг, вздрагивал, остановившись, вскинув голову. Мальчишки, вымчавшие из подворотен, пристраивались в хвост колонне. А пожилая изможденная женщина со свисающей с локтя котомкой картофеля и с крохотным внуком на руках — неокрепшая шейка-стебелек раскачивает беспомощную головку — проклинала немцев и говорила мне: <63>

— Пускай все возьмут для армии. Пусть нам оставят немного черного хлеба и воды. Лишь бы армию кормили.

Другая женщина, тугая, скуластая, в руках по корзине с продуктами, на ходу спрашивала меня про шагающую колонну: "На фронт? На фронт? Надо, надо пополнять ряды Красной Армии" — пусто, наставительно, грубо произнесла, идя без задержки дальше своей дорогой, отдельной от всех.

Остановленный на перекрестке мотоциклист, красивый малый, не слезая с седла, пережидал, когда пройдет колонна, и громко, беспечно, от души пел:

Фашисты отступа-али,

Мы двигались вперед…

Но вот на площади першит в репродукторе, и прихлынувшие к нему с тротуара люди смотрят в его черную пасть. Он заглатывает наше дыхание, наше сердцебиение и выталкивает из пасти: сегодня нашими войсками оставлен город…

* * *

В избе.

— А до войны что, одежонка была кое-какая.

— Так мы на это смотрели скрозь пальцы.

— Видный был мужик. (Это о председателе сельсовета.) Говорить станет — как по писаному чешет. Так ведь война второй год. Ум весь — в обноске.

* * *

Штаб нашей армии. Гидрологическая характеристика по району возможного продвижения войск в наступательном бою:

"Характерна особенно для участков, расположенных на р. Волга и Сишка, — небольшая облесенность территории и значительная ее распаханность. Значительные массивы леса приурочены к водораздельным плато. Такие лесные массивы, а также глубокие овраги, заросшие кустарниками, могут служить местами для укрытия войск, в целом же для всего района маскирующие свойства местности выражены слабо…"

* * *

Всякий раз, как после продолжительной стоянки вдруг оказываешься на колесах, одолевает путевая <64> праздность, хоть и невелик отрезок пути. И замечаешь, что происходит вокруг: листья, выстоявшие это холодное лето, покрылись сентябрьскими тенями солнца и крови.

С нами поравнялся уже едва различимый в сумерках кавалерист. Возможно, везет донесение. Срочное. Машина стала на мосту. Лошадь скользнула крупом по ее крылу. И внезапный толчок, как электрический заряд. Мне вдруг почудилось, что этот тихий вечер и я вместе с ним как бы вытолкнуты из войны. И взмыли.

* * *

Какой-то чернильный, горьковатый запах осиновой прели. Гиблая, сырая, облетающая роща; тусклые, осенние стволы. Особенно сильно и странно пахнет чернилами в блиндаже, когда в железной печке сырые осиновые чурки шипят и тлеют, не воспламеняясь.

Подступает вода. По утрам, отворотив бревна настила в блиндаже, выбираем по сорок и более ведер воды, просочившейся из почвы.

Мыши и крысы привалили сюда из сгоревших селений, осаждают блиндажи. Сержант Тихомиров заявил опрометчиво, что ночью, просыпаясь, он чувствует себя княжной Таракановой. Сказанул — и прицепилось. Теперь его иначе и не называют: княжна Тараканова. В лучшем случае сержант Тараканов. Так уж теперь до конца войны.

* * *

Написала домой: "На днях мы снова двинемся, опять машины, разбитые дороги, километры пешком и ночи в лесу под дождем — в палатке или без. Но это движение на запад, и в этом направлении я готова идти пешком до конца войны. Пишу вам ночью, а ночь, как известно, придает такого рода чувствам торжественность… Над нами немец развесил осветительные ракеты, но ушел, не бомбив…"

* * *

Трофейный документ. Прислан Генштабом для ознакомления:

"Гл. квартира фюрера.

7. X. 41.

Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, <65> а позже Москвы, не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником…

Следует ожидать больших опасностей от эпидемии. Поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан огнем.

Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным выход населения для эвакуации во внутренние районы России, следует поэтому только приветствовать. И для всех других городов должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами, а население должно быть обращено в бегство…

Хаос в России станет тем больше, а наше управление оккупированными восточными областями тем легче, чем больше населения городов Советской России будет бежать во внутренние области России.

Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров.

По поручению нач. штаба вермахта Йодль".

* * *

Исконное: "Не в силе бог, а в правде". Правда вся на нашей стороне — они вторглись, топчут… Одной правдой, видно, не проймешь, не одолеешь их. А может, и бог ныне — с силой?

* * *

Дневного света совсем мало, а в лесу и вовсе: ранние сумерки, кромешная тьма вечеров и ночей. И вот пожалуйста — куриная слепота: это когда, оставаясь зрячим днем, в темноте слепнешь, как курица. Говорят: авитаминоз, нужен рыбий жир. Боец, страдающий, как и я, говорит просто:

— Глаза тупые стали.

* * *

"В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР о ликвидации очагов сыпного тифа в районах, освобожденных от немецкой оккупации, в ваш сельсовет направляется бригада дезинфекторов. Работа по борьбе с завшивленностью в освобожденных <66> районах должна быть развернута в следующих направлениях:

1. Массовая промывка населения, используя для этого местные средства — бани, русские печи, для детей — корыта…"

* * *

— У каждого душа должна рваться в бой на передовую!

— Душа болит — рвется, а все чегой-то на месте, — вздохнул боец, скручивая цигарку.

* * *

— Если день без дождя, жди, что будет бомбежка.

* * *

Нас не трогай — мы не тронем,
А затронешь — спуску не дадим,
И в воде мы не утонем,
И в огне мы не сгорим.
Это же гимн чертей. А мы-то и тонем, и горим.

* * *

— А нам што? Ни почета, ни острастки.

И где только может урвать с часок ли, с полчасика,

заваливается спать. На войне вообще кто где может спит безоглядно.

Плакат:

"Витамины нужны животным.

…От недостатка витамина Д и минеральных солей (кальция и фосфора) молодняк заболевает рахитом. Это заболевание выражается в том, что кости животного становятся хрупкими, ноги искривляются, суставы расширяются; животные трудно поднимаются на ноги, теряют аппетит. Витамин Д…"

Отпечатано в Омске, 1942, на подходящей бумаге типа газетной — пойдет на раскурку.

* * *

Пожилой, измученный. Но в облике черты особой городской степенности, потомственной. В поисках пропитания оказался в деревне, отбитой теперь нами.

Еще в Ржеве соседка слышала по русскому радио: <67>

"Потерпите. На днях мы освободим вас. Помогите громить врага чем можете".

Сам он слышал, Гитлер якобы сделает Москву деревней, а Ржев столицей. Это говорил немец Рудольф.

Немцы уже все обобрали. И у них с пропитанием очень ухудшилось. Крутят через мясорубку конину. А в городе страшный голод.

Человек этот горюет по своей библиотеке, хоть и закопал ящики с книгами в землю, но не надеется сберечь. Еще в июле он у знакомой за восьмушку окурочного табака купил книги — Ратцель, "Народоведение", том первый; "Подарок молодым хозяйкам", тысяча страниц; Кропоткин, "Записки революционера", Достоевский, "Идиот", и набор разнообразных журналов. На базаре за шесть немецких сигарет — "Преступление и наказание" Достоевского. А за три куска хозяйственного мыла у той же знакомой — сорок четыре тома энциклопедического словаря Гранат, Библию и другие книги.

* * *

В лесу на КП от блиндажа к блиндажу протянуты жерди. Держась за них как за перила, легко передвигаешься ночью. Но я с задания возвращалась на КП в быстро сгущавшихся сумерках. И вот уже — обвал обступившей темноты. Куриная слепота. Мрак.

Ничего не вижу. Ногу заношу, а куда ступлю — не то на дорогу, не то в яму, в кювет? Сажусь на корточки, ощупываю руками склизкую, холодную землю. Поднимаюсь, шаг, еще шаг. Не то дорога клонится, скользит по мокрой глине, не то я сбилась, скатываюсь куда-то, ухну сейчас. Ни звездочки в небе, ни вражеской ракеты, как назло. Опять присяду, обшарю руками землю, поднявшись, переступлю и замру беспомощно — ни с места. А еще два или три километра. И тогда — делать нечего, ни зги — с помощью рук-поводырей постыдно, на четвереньках перебираюсь, уже зная, что никогда никому не признаюсь в том.

Где-то на половине пути на мгновенье — огонек. Я наткнулась на палатку армейского прокурора полковника Зозули. Оглядев своими крохотными глазками, утопленными в валиках толстых век, меня всю в грязи, в глине, кивнув на мое "разрешите?", сказал: <68>

— Мы люди интеллекта. Мы всякие невзгоды переносим легче.

* * *

Сказано штабными гидрологами: "…маскирующие свойства местности выражены слабо". Но в каждом перелеске, рощице, кустарнике такое скопление собранного сюда, под Ржев, войска, что куда ни ударит немецкий снаряд — гибель.

Наш комиссар штаба взял на себя смелость написать в Ставку о недопустимости густого эшелонирования.

* * *

За фронтом:
Раскинулись рельсы стальные,
По ним эшелоны летят,
Они изо Ржева уводят
В Германию наших девчат.
Прощай, дорогая сторонка
И быстрая Волга-река.
Ой вы, братья, вы, братья родные,
Выручайте вы нас поскорей.
Приготовьте вы пули стальные
Для проклятых немецких зверей.
Разгоните вы их, растопчите,
Чтобы ворон костей не собрал,

Чтобы каждый немецкий мучитель
Лютой смертью за нас пострадал.

* * *

"Приказание войскам 30-й армии.

В связи с продвижением частей армии обнаружено массовое применение противником мин и сюрпризов в самых различных местах: на дорогах, на объездах взорванных мостов, в населенных пунктах и блиндажах, где противник минирует всевозможные предметы — от столовых ложек, стульев до дров, складываемых у печек, а также трупы, склады и т. д. и т. п…"

* * *

16 сентября. Петухи перекрикиваются. 6 часов утра. Просветлело на небе, и береза, что стоит на улице между домами, вся шевелится. <69>

6. 30 — уже солнце поднялось, и береза теперь попала под его свет, и нижняя часть кроны видна в своей желтизне, а повыше и на верхушке листья темные. Холодный ветер, все деревья трепещут.

* * *

В освобожденной нами деревне мужчин мобилизуют в армию. Пожилой хозяин, где мы заночевали, утром уходил в запасной полк. Простился с семьей кратко: "Будьте поаккуратней" — и пошел будто в поле на работу.

* * *

"19 сентября 1942 г. 215-я стрелковая дивизия ворвалась на окраину гор. Ржев.

В ожесточенных боях, переходящих в рукопашную схватку, к исходу дня части дивизии полностью очистили от противника 10 кварталов сев. — вост. окраины гор. Ржев…"

* * *

Поезд шел на Тулу. Черной ночью, без фар, без встречной сигнализации, несся наугад, вздрагивая на залатанных рельсах.

Таинственные, черные, мимолетные станции, внезапные глухие стоянки в белом январском поле…

Каким давним, отпавшим кажется тот январь. А всего-то восемь месяцев прошло. Какой же долгий, долгий наш сорок второй год.

Значит, так. Был январь. Поезд шел на Тулу. Я занимала самую верхнюю, багажную полку. Ни благодатная черствость досок, ни удары по голове нависавшего потолка при беспомощной попытке переменить положение не имели ко мне сколько-нибудь ощутимого касательства. Как и махорочный чад, и тускло подсвеченное копошение внизу подо мной, и всхлип, и храп, и смех, и мат, и бренчанье чайников.

Дело в том, что третью, багажную, полку занимала, в сущности, не я. Это в традиционной оболочке из моих мышц и суставов мой бесплотный дух катил по назначению в десантную бригаду. Вероятно, это выспренно сказано. Но как иначе скажешь о той странной невесомости, неотчетливости тела, когда предстояло безо всякого на то умения свалиться с парашютом, <70> да в тылу врага, схватиться с ним в огненной схватке, не умея стрелять, и при лучшем исходе дела пройти на возвратных путях триста — четыреста километров снежной целины на лыжах, едва когда-то испробовав, как передвигать ими.

Дальше Тулы состав не шел. Мы ночевали в привокзальном домике, где комната отдыха поездных бригад. А ранним утром в этом темном помещении, уставленном железными койками, забренчал рукомойник. Скопившиеся вокруг него мужчины-железнодорожники и наши парни-десантники ждали своей очереди мыться голые до пояса, с полотенцами через плечо.

Передо мной возникли их сильные торсы, литые мускулы рук. И вдруг я на миг оцепенела, ощутив нашу телесную несоразмерность в предстоящих физических испытаниях.

Но было это только на миг. Мы двинули дальше. И опять все сносно, все переносимо.

8-я воздушно-десантная бригада во главе с генерал-майором Левашовым была срочно сформирована приказом Сталина. И приказом Сталина всякий груз, адресованный ей, надлежало незамедлительно, первоочередно, "красной стрелой" пускать по железной дороге.

Но железнодорожное полотно было восстановлено лишь на том или ином перегоне, а непрерывных путей на Калугу не было. На покалеченных станциях, на полустанках и разъездах осипшие, изматеренные коменданты, осаждаемые военными и

гражданскими, глянув в наше — общее на пятерых — предписание явиться в распоряжение генерал-майора Левашова, судорожно вталкивали нас в первый же проходящий состав под вопли, угрозы и заискивания заиндевевших в ожидании посадки людей.

Но рельсовый путь обрывался, и, сколько-то проехав, мы опять шли пешком то по шпалам, то по-над насыпью, то срезая расстояние большаком.

Белая, белая, замершая даль. То ее скроет вьюжная мгла, то, как стихнет, опять даль. Занесенные снегом сгоревшие избы — целыми селениями. Черными обелисками — прямые оголенные печные трубы в нашлепках приставшего снега.

Что там, впереди? До странности нет страха. Теребит, <71> подкатывает под ложечку, захватывает небывалость.

Уже ступил — не воротишься. Уже что-то творят с тобой, приобщая, даль, и снег, и черные корчи пожарищ. Обмираешь даже. И так приверженно, слитно с ними, вроде уже утоп, растворен в их бесконечности. И отчего-то вроде бы немного грустно, ласково. Если не побояться сказать — одухотворенно.

Одна только стужа — непреклонная, устрашающая реальность. Но и то сверх нее, сверх вообще всего что-то еще неохватное как бы и не пускает принимать взаправду все происходящее с тобой.

На очередном разъезде комендант всадил нас в теплушку, набитую красноармейцами.

Состав шел безостановочно к фронту. Всю ночь лязгал засов, грохотали раздвигаемые двери, поддавало холодом и светил в проеме над темной спиной солдата приглушенный свет зимней ночи.

— Вей по ветру! — весело сказал кто-то.

И опять еще раз мысль о женском природном против них, мужиков, несовершенстве в стеснительных тяготах военного быта.

Но только на миг. Укрощенная духом, я катила бесплотно дальше.

* * *

Прошлой осенью немцы писали: "Ржев — это цветущий сад победоносной Германии". Теперь же они, те, которые воюют здесь, иначе его не называют — "сущий ад".

* * *

Толя Волков, одиннадцати лет:

— Я был дома. Вдруг ударила артиллерия, послышался стрекот пулемета, взрыв гранат. Это немцы подходили к нашему городу Ржеву. Вдруг ударило мне в руку. Я почувствовал, как что-то теплое потекло у меня по руке. Это пуля попала мне в руку. Я упал без памяти. Когда очнулся, я услышал чей-то грубый голос. Я позвал маму: "Мама, кто это?" Она ответила: "Немцы, сынок".

Рано утром на рассвете,
Когда смирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ —
Это, значит, против нас. <72>

* * *

— Кровопийцы! Всех вас надо вешать на горькой осине!

* * *

— Где ж ходить, братец, в фуфайке таким разляляем — под арест угодишь. Надо б хоть какой булавкой забулавить.

— Взять где?

— Может, какая добрая баба отдаст свою булавку.

* * *

Я навещала в госпитале раненого разведчика. Заночевала поблизости от госпиталя в деревне, где танкисты ремонтируют свои машины. Пустила меня к себе в избу молодая бойкая хозяйка, вроде неказистая, но веселая и привлекательная, возбуждена, как все тут молодые женщины, у кого на постое танкисты. Сама спит на деревянной кровати, солдаты на сене на полу. Для меня составила две скамейки.

Только все улеглись, дунули на коптилку, докурили в темноте мигавшие огоньками махорочные самокрутки, как тут же раздались голоса. Хозяйкин возмущенный:

— Безо всякого подзова идет. Нахал какой.

И бормотание солдата:

— Я те не пес.

— Уйди, уйди, я тебе не подзывала. Ляжь, нахал какой, где положено.

— Так я ж погреться. Внизу-то весь холод — наш.

* * *

"29.9.42 г. Противник перешел в контрнаступление. 215 стр. дивизия, отражая яростные атаки пехоты и танков противника, закрепляется на завоеванных рубежах, продолжая удерживать сев. — вост. окраину Ржева".

* * *

— Горох, фасоль у немцев варится не ахти. С удовольствием нашу лепешку съедят…

* * *

Ну и блиндаж! Такой еще не попадался. Крестьянский дом утопили в землю. А темные бревна все в <73> узорах. Красиво и жутко. Представить себе только: тут вот, на передовой, под огнем, какой-то немец, — может, и не один — елозил, выделывая паяльной лампой эти фокусы. Разукрасил стены. Очень искусно.

* * *

Все та же осиновая прогорклая роща, заплывшая осенним туманом; еще навязчивей чернильный запах мокрых занимающихся сучьев. Всхлип болотной хляби под сапогами. Раскат боя.

В этой же роще несколько немцев, уже опрошенных. Уже не "языки", а пленные. Только некому этапировать их в тыл: все боеспособные в боях. И приходится пока что держать пленных в расположении штаба. Они сложили себе шалаш и в нем ночуют, а день проводят снаружи в ожидании своей дальнейшей участи. В утренних сумерках, когда в сырой осиновой роще все так призрачно, стоит мне показаться из блиндажа, как немцы, дожидаясь и уже наготове, принимаются имитировать джаз.

Эти призрачные продрогшие немцы у шалаша, их "джазовые" ужимки приветствия, подтрунивания над собой и мной, их попытки обратить на себя внимание, расположить к себе судьбу и просто согреться…

Это теперь тоже навсегда со мной — не отвяжешься.

* * *

Колесо угодило в кювет, телега накренилась, поскакали пустые ящики из-под патронов. Проходивший младший лейтенант бросил вознице: "Эх ты, растопыря!" — и пошел дальше мимо.

— Вот как ругают меня, — сказал, почесывая затылок, возница. — По-всячески. На начальство я не обижаюсь.

* * *

Осень — самая тяжелая пора. Хлябь… Весенняя распутица хоть и забирает остатки сил, что и без того уже отняты осенью и зимой, но с весной надежда: придет лето. А за мокрой, грязной, холодной осенью — стужа.

* * *

Письмо в действующую часть: <74>

"Пишу из глубокого тыла нашей родины, из госпиталя. По всему видать — задержусь. Не жалуюсь, но как подумаю, что вы двинете на запад и не остановитесь, пока Берлин не откроется, и все это без меня, так сделается такая скука на душе, поскакал бы до вас хоть на одной ноге.

Кто из нашего экипажа цел и заместо меня водит машину? Буду ждать сообщения. От делать нечего и для пользы расскажу новеньким, нехай прочтут, когда время будет.

Насчет маскировки. Учитывая болотистую местность, заботьтесь, чтоб замаскировать следы гусениц танка, не считаясь с трудами. Стоит "раме" обнаружить хоть танк или даже след его, как эта местность подвергается бомбежке. И там, где мы, танкисты, появлялись, за нас на то обижались пехотинцы.

Теперь насчет ловушек. Не забывайте, как двинете вперед. Отступая, немцы делали на дорогах ловушки для танков. В такую ловушку я было попал в районе ст. Бологое. На дороге немцы копали большую яму, на дне ямы ставили фугас, сверху яму закрывали тонкими жердями и землей, по земле были сделаны следы повозок. Благодаря что ехал я на большой скорости, мой танк проскочил яму. Ну я почувствовал большой удар и потерял с поля зору землю, сбросил газ, выжал фрикцион. Танк пошел назад и задней частью врезался в стенку и завис в яме и таким чудом не достал взрывателя фугаса. Саперы выручили. И

напоследок скажу еще насчет отработки команд. Мы с командиром отработали даже те, которые нужны, когда выходит из строя рация и переговорное устройство. Например. Ударом ноги меня по голове — я должен остановить машину. Ударом в спину — двигаться назад. Два удара в спину — вперед. В правое плечо — вправо. В левое — влево.

Эти приемы мы часто употребляли и, уявляете, не попадали под прицельный огонь…"

* * *

Вчера вдруг в безысходный осенний свинцовый мрак последних дней пробился солнечный по-особенному, как только осенью бывает, ясный день. И откуда-то взялись две лошади: одна — легкая, другая — <75> тяжеловатая. Гуляючи прошли они, выйдя из леса. Это было удивительное видение.

* * *

От Советского Информбюро. Утреннее сообщение 5 октября:

"В течение ночи на 5 октября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах никаких изменений не произошло".

* * *

По радио в передаче из рейха пели: "Барабаны гремят по всей земле…"

* * *

Проходивший боец остался в избе на ночевку. Занимает пожилого хозяина разговором:

— Немцы-то воскресенье соблюдают, не воюют.

Хозяина не удивишь этим. Здесь в селе до самой войны издавна жило несколько семей немцев — такие же крестьяне. Раз как-то — дело было до колхозов — повез он немцу свой долг, воз сена. Перед воротами стал, пошел в дом.

— "Иди, говорю, Федорыч, принимай". Его как-то еще звали не по-нашему: Карла Тодорович, ну а мы — Федорыч. Привык,

отзывался. А тут не шелохнется сидит. "Свали, говорит, за воротами". Как это свали? Я и в толк не возьму. Чтоб такой хозяин… "Какой сегодня день, соображаешь?" — "Какой?" — "Воскресенье сегодня. Не работаю". И стал советовать: "Поработай один год, соблюдая воскресенье, подсчитай — посмотришь, выгодно или нет"…

* * *

Постановление исполкома сельсовета: "Необходимо организовать чтение газет в бригадах, с тем чтобы воспитать у колхозников полную ненависть к вражеской армии".

* * *

— Познакомились. С неделю у нее стояли. Красивая. Такую, может, жизнь проживешь — не встретишь больше. Нам приказ отходить. Говорю ей на прощанье: <76> "Вы не больно-то тут с немцами якшайтесь. Враг ведь". — "Ладно, — она говорит, — сами знаем, кому поднести, а кого обнести. Вы-то с оружием отступите, а нам с детьми куда податься?"

* * *

Береза темнее на север. По березе ориентироваться.

* * *

"6. X.42 г…Части центра продолжают улучшать тактич. положение в Привокзальной части и на улицах сев. — вост. окраины г. Ржев, очищая от противника квартал и кустарник, что между кладбищем и лесом, что сев. — вост. г. Ржев".

"7. 10. 42 г. Противник, усилив Ржевскую группировку мотобатальонами полка СС "Великая Германия", частями 5 тд и 110 пд, стремится выбить части из сев. — вост. части города".

* * *

Контуженый солдат. Оглох. Ему кричат прямо в ухо.

— Ладь не ладь — ничего больше не слышу. — И пошел,

охватив руками голову и качаясь из стороны в сторону.

* * *

Эх, за Волгой сизою с дальних берегов
Смелые дивизии в дым смели врагов…
(Наша армейская)
Но еще не смели. Еще смертельные бои.

* * *

— Участвовать пришлось вот уже более года в боях за Ржев, ночевать в дому не пришлось ни разу. В лесных рощах, в оврагах, в землянках и шалашах. И населению зачастую так же, а то и хуже. Раздето, разуто, многие селятся в оврагах, в плохих землянках…

* * *

Размытая, гиблая дорога. Хлюпанье ботинок, сапог — растянувшаяся колонна. Полк на ночном марше. <77> Переброска на другой участок. Я иду своим маршрутом, по обочине. Вражеские ракеты выхватывают на секунду лица.

Слышу:

— Сестрица! (Это ко мне.) Дымку нету?

* * *

Все дробится на миги. Может быть, когда-нибудь потом сложится во что-то единое.

* * *

Разведдонесение:

"9. 10. 42 г. в 8. 30 из Сычевка на южный вокзал г. Ржев прибыл воинский эшелон с 17-тью крытыми автомашинами, 11-тью танками и 10-тыо крытыми жел. — дор. вагонами".

* * *

В Ржеве на улице Коммуны в ЧД находится комендатура.

ЧД — это Чертов дом. Его выстроил купец, рассчитывая сдавать квартиры внаем. Но в непогоду с чердака этого дома доносились ужасающие стоны. Жильцы покинули дом, явно облюбованный нечистой силой. И семья купца тут тоже не удержалась. А прохожие обходили этот зловещий Чертов дом, предпочитая переходить на другую сторону улицы, пугаясь сатанинских стенаний.

Дом пустовал. После революции в нем оборудовали общественную столовую и при перестройке дома обнаружили на чердаке те пустые бутылки, издававшие при порыве ветра, проникающего на чердак, так пугавшие всех стоны. Эти бутылки заложили строившие дом рабочие в отместку за то, что купец обсчитал их при расчете, надул.

Все стихло. Но по-прежнему его иначе не называли — Чертов дом, а по веянию времени сокращенно: ЧД. И если кто из горожан желал подкрепиться водочкой в ро́злив, решал куда податься: в ЧД или в Божий дом. Два таких злачных места и было всего-то в городе: Чертов да Божий дом — часовня при Казанском кладбище, где учредили буфет. А теперь вот перевоплощение общественной столовой в гестапо. Теперь это буквально Чертов дом. <78>

* * *

Он сидел на пеньке ссутуленно, в обнимку с винтовкой, измотан вконец.

— Кончай ночевать, — бросил ему, поднимаясь, товарищ.

И поплелись на передовую.

* * *

Заседание правления колхоза "Дружба" от 11 октября 1942 года.

"Заслушав председателя колхоза Петра Филипповича о расхищении колхозной свеклы. Брыкова Вера Павловна по наряду бригадира Ананьевой вышла на околот льна. С покончанием своей работы пошла домой мимо свеклы, зашла в колхозную свеклу, натаскала по возможности и пошла домой. Председатель колхоза Гусаров не остановил, она свеклу бросила и просила прощение. "Прости, Петр Филипыч". Предколхоза предлагает дело на заседание правления.

Постановили: за расхищение колхозной свеклы с Брыковой Веры Павловны списать 2 трудодня".

* * *

— Маленький заморозок, — сказала вернувшаяся хозяйка. — Как уберусь, так валенки надею. Раньше (это значит до войны) два раза в год мыли, под пасху и рождество, стены, потолок вересом, песочком трешь. Хорошо! Мало у кого обои. Те мукой аржаной подлепляли.

* * *

Война кружит, донимает, от всего освобождает. Нерушимо все только в деревенских женщинах. Это потрясает больше всего.

* * *

— Иду с поля, подхожу к дому — ворота куда-то утощенные. Военные в блиндаж себе. Я ругаюсь, а что тут сделаешь. День такой холонный. Ну и Шурочку застудили. Куды? Больницы нет. Я — на работе. Малец сидел с ней до самого конца.

* * *

Председателю сельсовета:

"Выполнение плана подъема зяби в вашем сельсовете <79> поставлено под угрозу. Немедленно организуйте массовый выход в поле колхозного и другого населения на вспашку зяби вручную.

Примите все меры к тому, чтобы к 1. XI с. г. план подъема зяби был полностью выполнен.

В случае невыполнения… по законам военного времени".

* * *

В пустой деревне. Жители отселены. Возле дома в неогороженном палисаднике — земляной холмик, вбит кол, к нему прикреплена дощечка: "Здесь похоронен Васильев Николай Васильевич. Мир праху твому".

Но бойцы так навострились — от них и под землей не

скроешься. Расковыряли холмик, повыбрали картошку. Вбили обратно кол и приписали на дощечке: "Воскрес и ушел на фронт".

* * *

— Я нужный человек, — утверждает он. — Я на водокачке в Лунине работаю. — И добавляет: — Я натуральный русский человек.

А вот это уже у немцев схвачено.

* * *

"Мы вырастим поколение, перед которым содрогнется мир, молодежь резкую, требовательную, жестокую. Я так хочу. Я хочу, чтобы она походила на молодых диких зверей" (Гитлер).

* * *

Девушка с искалеченным лицом — новый военфельдшер у нас в штабе. Год назад в декабрьском наступлении под Москвой в бою за Новый Иерусалим она была тяжело ранена.

Говорит: на передовую бы, мстить. Но недослышивает после ранения, один глаз заплыл — не видит, и она понимает, что на передовой ей уже не бывать.

Между теми боевыми днями и нынешними пролегли месяцы по госпиталям, когда "уже не хватало сил, терпения от моих ломот", и теперь она с неистощимой охотой и азартом рассказывает о том, как и каково <80> ей было "давным-давно" на фронте, пока ее не покалечило.

Она москвичка, пошла добровольно на фронт, была в санвзводе, одна среди мужчин.

— Я ли это была или нет? На самом переднем крае. Когда мы двигались к Москве, отступали. Господи боже мой! Как это я там была! — взвинчивается она. — Подумаешь — нет, это не я была. Бой есть бой. Но что самое страшное — это пехота. Первоначально, правда, ничего не страшно. Идешь, стреляют, бьют, спотыкаешься то об лошадь павшую, то еще о что — как будто просто идешь по земле. И вот почему-то сначала не страшно. Боялась, что в ноги ранят, а голову не берегла. Наденешь на раненого свою шапку, потом ребята мне шапку с убитого принесут… Мама, когда умирала, сказала: "Тебя любить

не будут, ты человек правды". А со мной все делились, хоть маленький кусочек хлеба, а на всех. Сперва казалось: как я буду обрабатывать рану и перевязывать зимой, на морозе? Для меня это было странным. "Не горюй, Нюша, насчет этого мы тебе подскажем". Они уже были в боях. И советы хорошие давали: спеши, Нюша, обзавестись семьей. А мне спешить некуда. Мне кажется, я была прошлый год озорная. Я ходила как сорванец. А понадобилось для раненых, так я у начпрода украла лошадь. И одна врач, Кац, тоже: "Мне некуда спешить, я мужчиной стала". Застудилась, борода у нее стала расти. В тот раз немец был на горе. Чтобы его выбить, у нас было мало сил. Я у кустика вдруг остановилась, верно, сердце предчувствовало. Страх не страх, а какое-то предчувствие. Гранатное ранение. Просто, знаете, сразу головой в какую-то пропасть как в глубокий сон. В медсанбате пришла в себя, говорить не могу — челюсть перебита. Только чувствую, как копошатся возле, ихние хлопоты, дыхание. И в голове что-то проталкивается. Пришел санитарный самолет за каким-то большим человеком. Слышимость мне как издалека: "Я не полечу, а ее отправьте". И меня отправили. Помню перестрелку. Тряски. И все. — Она достает из кармана кусочек бинта, вытирает слезящийся глаз. — У меня, знаете, какие глаза до этого были — кошачьи, красивые. Мне говорили: "Твои глаза сразу как прострел дают". <81>

— Мы заняли деревню Крутики. С Волги, по дороге подъема в деревню, на берегу с правой стороны — дом с надворными постройками. Мы с расчетом батареи сорокапятимиллиметровой пушки расположились ночью на дворе в сарае. Перед утром хозяйка дома нас из сарая с негодованием выгнала. Говорит: спалите мой дом. А тут же в скором времени немецкие самолеты. Сбросили бомбы и разбили этот пристрой сарая. Видимо, хозяйка этого дома не нуждается освобождения от немецко-фашистского рабства и отпечаток ее автобиографии не советский.

* * *

"О сборе подарков Красной Армии к великому празднованию 25 годовщины социалистической революции доклад сделал председатель колхоза Ефименко. Необходимо сделать подарок нашей любимой Красной Армии. Присутствовало 11 человек.

Постановили: собрать сдобных сухарей в количестве 5 кг.".

* * *

— Прибежал свояк как ошальной: то ли ему с немцами бечь — угоняют, — не то в лесу отсидеться, пока наши заступят. Я ему: все тебе — как да как, а ты спросись сам у себя.

* * *

Еще в январе на митинге в освобожденном городе его имени М. И. Калинин заявил, что "тяжести войны будут усиливаться… огромные человеческие массы противостоят друг другу".

И тут вот посреди двух махин, двух схватывающихся армий — сплющиваются люди. Мирные, не воюющие, а находящиеся при войне.

— Война всех подберет, никого не упустит.

* * *

Хотелось есть, но есть было нечего. Вспоминалось назойливо то, что недоедено когда-либо. Например, в первый день на фронте.

В военторговской столовой, в деревне — первая моя трапеза на фронте. Только уселись за столы, что-то <82> вдруг затарахтело, как мотоцикл, и взвизгнули расхристанные окна, пули запрыгали по столам.

Все повскакали, бросились из избы, кто-то выдернул меня из-за стола за рукав.

— Кучно не сбивайтесь! — исступленно команда на улице.

Что-то темное и огромное, как смерч, неправдоподобно низко перевалило над крышей, и опять стрекот, грохот, дробь пуль.

Я оцепенела, не могла ни сдвинуться с места, ни взглянуть еще раз вверх. Люди прижимались к бревенчатой стене, следили из-за угла дома за самолетом, то бухались в снег, то шарахались за сарай, то назад оттуда, увертываясь от пуль, как от мячей при игре в лапту.

Огромная тень на миг накрыла меня, я зажмурилась в прощальном ужасе.

Потом мы вернулись в избу, давя валенками стекло под ногами. Смахнув со столов на пол осколки стекла, куски дерева, паклю, нашарив кое-где пули, люди продолжали обедать. А мне не захотелось.

Сейчас бы сюда тот гороховый суп. Я б его ела, не рыская ложкой в миске. Если и угодило стекло, перемелется на зубах.

* * *

— У нас летось прибили номера. Шешнадцатый наш дом. А только номер я сковырнул. Нескладный. С чего? Да вот с чего. Об эту пору немец пер сюда ужасно. А у нас начальник стоял. Расстелет по столу карту, поклюет. Разогнется: "Вот, говорит, папаша, кругом шешнадцать". — "Так точно, говорю, хошь с огорода, хошь в ворота заходи, всё шешнадцать". — "Я, папаша, про Фому, а вы про Ерему". С чего его досада взяла — не пойму, а только не сладился у нас разговор на ночь глядя. Утром он собрал народ и так строго: "Вакуируйтесь! Мы тут камня на камне не оставим, деревню не сдадим". Тут немец уже палит. Народ туда-сюда забегал. А этого начальника, что ночевал у меня, как раз убило — за огородами у нас лежит. Вот те и шешнадцать.

* * *

Информация начштаба Западного фронта: <83>

"Противник производит массированные арт. — мин. налеты по р-нам расположения войск центра и левого фланга. В сев. — вос. части г. Ржев и Воен. городок ведет сильный ружейно-пулем. огонь и освещает ракетами впереди лежащую местность".

* * *

— Раньше сын как выпьет — вот как бузит, вот как бузит. Меня гонит вон. Я его урядником стращала. Это я милиционера так зову. А ему хоть ты что. А теперь — ничего. Письма пишет. А где воюет, не могу знать. Ну а так-то пишет уважительно: и "здравствуйте", и "маманя", и "с приветом к вам".

* * *

Полуторку облепили деревенские девчата, толкали ее, выпихивали из грязи на твердый настил. Стоял такой гомон и так свирепо завывал мотор, что стрельба на левом фланге стала почти не слышна.

* * *

Баня — лучшая обитель. После бани — в избе за самоваром. Прокучиваем кулечки сахарного песку, выданные вперед на десять дней. Под ногами — деревянный пол, а не измочаленные в дрянь еловые ветки, как в лесу в палатке; тепло, крутой кипяток из медного самовара и, главное, — исключительно женское общество. Вот уж это удача. Говорим не наговоримся о том о сем, о пустяках. Ну, праздник.

И вдруг что-то осаживающее, какая-то помеха. Это среди нас — новенькая. Только прибыла на фронт. Завтра отправится к месту назначения в штаб дивизии секретарем-машинисткой.

Не в том дело, что новенькая, а в том, что чуждая. Вернее, мы с нашей болтовней ей чужды, нестерпимы, неожиданны. Все в ней натянуто, чтобы уберечь от нас этот патетический час свой. Прибыла. Добровольно. На защиту родины. (Знаем, сами это испытали.) А мы же для нее — бытовые, неромантичные.

* * *

В избе:

— В аккурате назывались — планы, еще при царизме. Тут уж новая власть, советская. А живу, хоть <84> ты что. Овцу держу. Мясца, шерёстки продам. Честно-благородно. А теперь только б хлеба с солью с чаем попить. Доживем ли?

* * *

Разуваться на ночь запрещено. Но нарушаем. Наша беспечность хоть и враг наш, но и друг — дает разрядку и, можно сказать, заменяет десятидневный отпуск, практикуемый у немцев.

* * *

Немцы передали по радио сводку:

"И сегодня утром под Ржевом враг во взаимодействии с сильными бронетанковыми частями продолжал наступательные действия с целью, как надо полагать, отвлечь наши силы от боевого марша на юге. Точка. Сильные бои продолжаются. Точка".

* * *

— Чевика с викою.

Догоню — нажвикаю!

— Врешь, врешь, не догонишь,

А догонишь — не поволишь,

А поволишь — не заголишь…

И дальше все забористей, хлестче. Это, если матери нет в избе, заводит девчонка, видно, что бедовая. Уж и замуж пора, и рожать пора. А все война, война, война. А жизнь в ней ходуном ходит еще и покруче оттого, что огонь, смерть.

Мать ей:

— Куда не накрывши?

А она никуда. Отбежала от дома на улицу патлатая, плюшевый жакет — "плюшка", как называют тут, — нараспашку. Стоит смотрит на солдат, что по деревне идут все мимо, мимо…

* * *

— На Седьмое ноября немцы около двух часов дня делают контрнаступление на наш отрезок превосходящими силами — около трехсот человек с засученными рукавами, с автоматами на животе и пьяные. Наш взвод был окопан на поле недалеко от дороги, где наши солдаты и командиры показали отвагу, мужество и свой героизм… <85>

* * *

"…Во время наступления частей Красной Армии немецкие солдаты в д. Подорки подожгли 35 домов… не давали спасать свое имущество, дома запирали и обстреливали тех, кто пытался спасать имущество… расстреляли старуху Лаврентьевну… расстреляли из пулемета и граж. Браушкина, колхозника, который убирал сено у своего сарая" (акт, деревня Подорки).

* * *

Опять немцы твердят: "неприступная линия фюрера". Это Ржев наш многострадальный.

* * *

Там, куда била "катюша", рушились постройки, взлетали переломанные бревна, доски. Когда стихло, немцы кричали:

— Иван! Сараями стреляешь?!

* * *

"11 ноября 1942 г.

Слушали в разном о том, что на территории данного с/совета появились волки, которые приносят материальный ущерб колхозам.

Постановили обязать ночного пастуха т. Горюнова С. усилить ночную охрану, одновременно вооружить себя ружьем.

Пред. колхоза…

Члены правления…"

* * *

Услышала по радио немецкую сводку о Сталинграде:

"Большевикам удалось прорвать в некоторых местах наши позиции, но мы не допустили расширения этих прорывов, и наша оборона бесстрашно отражает бешеные удары врага".

* * *

Я дежурила, приняла последнюю к ночи оперсводку из наших соединений:

"Штадив 359.

1194 сп занял к 19.20 исходное положение в направлении <86> церковь и кладбище Кокошкино. Наступление продолжается. Потери уточняются".

* * *

Дозорным земли московской называли в старину Ржев. Он и сейчас — дозорный.

Глава четвертая
Зима

Привозят мороженый хлеб. Его распиливают и раздают. Кладем его на железную печку, корочка припекается, пахнет печеным хлебом, аппетитно. Отходит, мягчает, хотя уже не тот, как если б достался не мороженым, — пресный, безвкусный. Но вообще-то сгоряча, с голоду это не чувствуешь.

* * *

В небе шевелились белые лохматые облака, растаскиваясь в клочья и бойко уплывая; висела еще и луна, слегка ущербная. Скворечня ютилась на дереве в нахлобученной шапке.

* * *

— Куда ты? — сказала пустившая меня в избу хозяйка. — Погрейся еще. Иззябла ведь.

Но надо было идти.

— На том свете погреемся.

Она сердито оборвала:

— Такая молодая на тот свет собираешься. Ты поживи, поработай. Там не примут такую.

* * *

Решение райисполкома:

"На время сильных заносов мобилизовать все трудоспособное население на снегоуборку в порядке трудповинности с лопатами.

За невыполнение данного постановления лица подвергаются штрафу 100 руб. или принудработы на 30 дней. Злостные нарушители данного постановления предаются суду по законам военного времени". <87>

* * *

Вьюга расходилась, крутился снег, и было смутно, хотя всего лишь четыре часа дня. Вихрь кидался нам в спину, задирая полы

шинели, набивая снег за воротник. Что там, впереди?

* * *

Выбить их из Ржева, погнать — освободить Москву от нависшей угрозы.

* * *

— Есть такие места на ржевской земле, хотя бы в районе Ново-Ожебокова, где вел бой наш девятьсот шестьдесят пятый стрелковый полк, или в Городском лесу, там из земли можно будет добывать металл. Там десятки тысяч тонн металла сброшено на землю: бомбы, снаряды, мины и пули.

* * *

Пройдет время, восстановят дома. Но человеческие устои, спаленные войной, невосстановимы.

* * *

На дороге, пробитой в поле, заглох мотор. Водитель вывалился из кабины с заводной ручкой. Крутанул что есть мочи — ни в какую. Что ж теперь?

— Эх, два ведра бы горячей воды, — сказал водитель мечтательно, — и полетит как ласточка. С полоборота.

Стоим. Жутко в чистом поле.

* * *

"Штабриг 196 танковой…Батальон закончил полностью проделывание проходов на большак и покраску танков в белый цвет".

* * *

Слепило от спрятанного, от слегка просвечивающего сквозь пелену маленького солнца. В груди колотится воспламененный

дух.

Но дальше идти некуда. Уперлись. Там — немцы. И вдруг осенило: это ведь край земли! Словно с детских лет недоверие — в самом ли деле земля круглая и нигде нет конца ей, — тут вот сейчас нашло подтверждение. <88>

* * *

На дороге, когда показался пленный, женщины перестали сгребать снег, молча смотрели на него, приближавшегося. Снег сыпал в широкие голенища фрица.

И только уж когда он прошел:

— Тьфу, черт. Хороший народ погибает, а такая вот гадость живет.

— Немец он немец и есть. Его поставили, он и воюет.

* * *

"12. XII.42 г. 653 сп. 220 сд. С боевым донесением была послана собака по кличке Джек. При выяснении обстоятельств установлено, что командир 120 мм батареи минометов 220 сд ст. лейтенант Зайчиков приказал подчиненным ему бойцам стрелять в собак, появившихся в расположении батареи, и связная собака была ранена.

Командарм приказал:

1. Разъяснить всему личному составу, что на службе в армии состоят военные собаки: сторожевые, связные, истребители танков и нартовые.

2. Запретить стрелять собак в расположении частей".

* * *

Ткнешься ничком в снег. Чувствуешь свой позвоночник. Он вместилище адского, рушащегося на тебя воя. Сжаться бы, сократиться, стать невидимой или хоть неуловимо маленькой.

Белое поле, и мы на снегу, еще судорожно живые, но как бы убитые. Ложись! Замри! Притворись мертвым! Не демаскируй! Пальнул бы кто-нибудь вверх — в черное, разлапистое, мохнатое, с паучьей свастикой на брюхе. Кажется, легче стало бы.

* * *

В отбитой деревне.

В печи затухли угольки, и нечем было зажечь лучину. Девчонка, накинув платок, побежала по соседям. Вернулась, неся в жестянке раскаленный уголек. Стали дуть на него, зажигать от уголька лучину. Заложили тряпьем поглуше оконце, чтоб свет не пробился наружу. <89>

Я, не снимая полушубка, легла на узкую скамейку, приставленную к столу, на боку можно удержаться на ней.

Потрескивала горящая лучина, вставленная в светец. С тихим шипеньем гасли, падая в кадку с водой, угольки.

Было так уютно, надежно, казалось — вернулась в знакомый, освоенный мир книг, сказок. Засыпая, слышала, девчонкина мать говорила мне, что лучина так растрещалась к морозу.

— Прошлый год весной, как стало вытаивать, поглядишь — мертвые лежат, даже живот замирает.

* * *

О противнике:

"Зимние дороги в прифронтовой полосе против нашей армии противник прокладывает не только по летним грунтовым дорогам, а и по целине. Для защиты от заносов снегов по обочинам установлены сплошные щиты из плетеных прутьев. По обе стороны полотна через каждые 25 м легкие столбы с пучками еловых ветвей на концах. Это в ночное время или в метель служит хорошим ориентиром для движущегося транспорта. Движение конного транспорта допускается только по отведенной части, а автотранспорта по другой. Все это говорит о внимании, которое противник уделяет вопросу подготовки и содержания зимних дорог в прифронтовой полосе" (обзор нашего разведотдела).

* * *

Еще с прошлой зимы удары топора по комлю дерева, хруст обламываемых кустов — все звуки истребляемого леса странным образом связались для меня с приступом энергии, с надеждой. Это оттого, что тогда в зимнем лесу пехота рубила просеки, чтоб прошли пушки, запряженные лошадьми. Соседняя армия билась, чтоб выручить нас. И мы изо всех сил рвались ей навстречу. Топоров и пил было мало, мы дружно, азартно и не зная усталости кромсали промерзшие кусты ножевыми штыками, обламывали руками.

* * *

Немецкая памятка "Защита от обморожения". Перевожу: <90>

"Ноги и руки: особенно чувствительны к морозу. Менять чаще носки (грязь не держит тепла), вкладывать солому, картон или газетную бумагу. Для защиты ног от обморожения рекомендуется завертывать сапоги в солому или тряпки. Лучшей защитой для ног являются валенки (русские) или сапоги, изготовленные из соломы (выделку последних производить силами пленных или местных жителей).

Защита рук: лучше иметь 2 пары тонких перчаток, чем одну пару толстых. Очень хороши варежки (из русского брезента), сделать указательный палец".

* * *

Пришел из полка, доставил пакет. Не уходил, машинально колупал сургуч на пакете. Чем-то был задет.

— Объясните мне, что это такое? Есть ожесточенность боя. Есть ненависть к ним. Есть хладнокровие при виде их трупов… И даже иногда удовлетворение. Но живые, в плену… знаете, они вызывают сострадание. — И проступило сплюснутое красноармейской ушанкой, связанной концами под подбородком, лицо студента.

* * *

Из отселенных деревень, из здешних землянок, что на месте пожарищ, поближе к передовой пробираются дети поесть и домой чего-нибудь принести. Один такой мальчик, Миша, вот уже несколько дней все с нами.

— Одет ты больно легко, — сказал ему капитан. — Еще такие морозы припекут.

— Меня никогда мороз не заморозит. Потому что я всегда потный.

— Ты как мужик, таким грубым голосом говоришь.

— Ага. Теперь, если немец воротится, я ему дам. Это когда он зашел в нашу местность, я совсем был малолетка и сил у меня не было.

* * *

"Оперсводка 10. 00. Штадив 274. 1 км сев. Харино.

В 20. 30 после сильной артподготовки разведка противника до 10 человек, перейдя р. Волга в р-не Горки, попыталась проникнуть в нашу оборону, но была <91> обнаружена и отбита ружейно-пулеметным огнем. При отходе немцы наткнулись на проводивших в это время линию связи (к месту действия разведки) старшего лейтенанта Перескопа и кр-ца Адуискова. В результате неравного боя ст. лейтенант Перескоп был убит, а телефонист красноармеец Адуисков взят немцами…

Погода: пасмурно, видимость 1–2 км, температура минус 12 гр. Дороги проходимые только для гужтранспорта".

* * *

Его называли Интендантом или Иваном Сусаниным. И наконец, просто и ясно — Исус Христос. Спасителем являлся он на станцию Мончалово в товарные вагоны, где остались тяжелораненые.

Этот старик из деревни Ерзово приносил голодающим раненым еду, все, что мог выскрести у себя. И он знал, где оставался спрятанный от немцев картофель совхоза в Чертолине. Старик вселял в несчастных надежду на спасение и сам служил проводником тем из них, кто мог двигаться, — переправлял их на "большую землю" возле Ножкина-Кокошкина, где у немцев не было сплошной обороны. И снова возвращался, чтобы принести в товарные вагоны еду и надежду и просто облегчить страдания.

Так до последнего своего дня, когда, схваченный немцами, он был расстрелян.

Станция Мончалово отбита. Ни железнодорожной будки, ни следов жилья. Ни тех товарных вагонов… Ничего. Все вымерло. Только засыпанные снегом воронки и под снег ушедшая разбитая техника. И никто теперь не узнает, как же звали святого старика из спаленной деревни Ерзово. Захоронен ли он, где? Все отдавший людям, даже доски, припасенные на гроб себе, отдал умершему от ран комиссару полка.

* * *

Был ли стоек, верен нам? Или подпал, подчинился насилию? Чуть продвинемся, освободим населенный пункт, переступим

первую отраду освобождения — и подступаемся к каждому. <92>

* * *

"Приказ по войскам. 30 декабря 1942 г.

Плохо заботятся о сохранении боевого коня. Отмечается резкое нарастание худоконности лошадей. Имели место случаи падежа лошадей от истощения…

Ликвидировать имеющуюся худоконность к 1 февраля 1943 г. Всех истощенных лошадей отправить на армейский пункт поправки слабосильных лошадей для подкормки и восстановления работоспособности.

Улучшить чистку лошадей, проводить ее при любой обстановке".

* * *

Хромой мужик проводил взглядом пленных немцев.

— Ничего себе. Заработали. Огребли.

* * *

Если слышен звук полета снаряда, значит, он в тебя не попадет, пролетит мимо.

* * *

30 декабря 1942 года. Исполком райсовета решил:

"1. Учитывая грозящие положения заносами снегами дорог, чем сильно задерживаем продвижение транспорта для фронта, закрепить за колхозами участки по устройству дорог….

2. Немедленно организовать обучение всех имеющихся с колхозах бычков-воликов с таким расчетом, чтобы к 15 февраля все бычки были приучены к езде в упряжи".

* * *

Еще рано утром, когда я чистила в сенях гимнастерку, наша Нюрка с соседской девчонкой вели тут свой разговор. Обе

прослышали, что будут выселять из деревни и что должны быть сильные бои и могут докатиться сюда. Послушать — обсуждают дела, как бабы. На чем выедут, какой будет транспорт? Соседская выдвигает трезвый план: запрягут в сани корову. Наша Нюрка берет выше — надеется на военные машины. Пригонят — и покатят они. Ах ты, малявочка косоротая. <93>

* * *

На старухе клетчатая тяжелая старая шаль с бахромой наброшена на укрытую платком голову и спадает по насборенной шубе.

— Я когда шла замуж, мне муж — золотое кольцо. А тут как похудела рука, оно мне — шмурыг с руки и пропало.

* * *

Издалека, с тех военных курсов переводчиков в Ставрополе, не признаваясь друг другу, мы ждали чего-то духоподъемного на фронте: "Вперед, товарищи!" И за руки и братски вместе — на смерть!

* * *

— Мы вынужденно стали людьми войны, — сказала мне девушка-снайпер.

Она в ватном комбинезоне. Когда идет в засаду, надевает еще белый овчинный полушубок и белый маскхалат с капюшоном поверх. Лежит на снегу, держа на мушке засеченный или предполагаемый немецкий блиндаж, в ожидании, что высунется же оттуда вражеская голова.

Лежит день-деньской сколько хватает свету, с немыслимым женским терпением. Воздавая ей, не могу отделаться от чувства, что это скорее все же охота, а не война.

Она училась в планово-экономическом техникуме. Говорит она немного книжно, напряженно, но правдиво. Удручает ее: как бы не застудиться, на снегу лежа, и не остаться навеки бездетной.

* * *

Дорога нас подбрасывает. Причудливы зубчатые снежные глыбы, отброшенные по сторонам ее. Они подтаяли и смерзлись.

— Еще вся война — наша! — размашисто, с удовольствием сказал немолодой старшина, правивший лошадью.

Сани выхлещивает из стороны в сторону в широких колеях. А то вовсе на боку едем.

— Лакни разок, — сказал он, отстегнув с ремня фляжку с самогоном и протянув мне. <94>

* * *

Задумываешься: как будешь потом писать о войне? Если уцелеешь, конечно. Ведь даже то, что было прошлый год, смешалось, вспоминается то разом все, то лишь разрозненными кусками…

* * *

Исполком райсовета. Почта — телеграмма — сельсовету:

"Поощряйте инициативу на большие взносы на танковую колонну. Организуйте индивидуальную работу с отдельными лицами по примеру Ферапонта Головатого…

Категорически запретить председателям колхозов направлять на оборонные работы лошадей, больных чесоткой.

Решение не выполнено, чесотка лошадей не ликвидирована в вашем районе, а заболевание увеличилось. В колхозе "Светлое Марково" наличествует завшивленность лошадей".

* * *

— Двадцать второе июня сорок первого года мне запомнилось на всю жизнь: десять километров бежали бегом из бани на митинг дивизии, где зачитали нам радиограмму о вероломном нападении фашистской Германии. На митинге генерал нам сказал: "Да будем же героями".

* * *

Ведь было же: ах, березка, ах, тень на снегу, ах, снегирь — красная грудка. Ничего нет. Слепо. Никакого пейзажа.

* * *

Перевожу немецкий приказ по пехотному полку 639:

"5.1. 43. Сведения о потерях или о смерти лошади являются строевым донесением. В каждом случае оно должно быть подписано командиром батальона.

Перемещение лошадей. Подлежат немедленному перемещению белый мерин тавро A/320, R (верховая лошадь) из штаба 1-го батальона в штаб полка. Гнедой мерин Роберт R из штаба полка в штаб <95> 1-го батальона. Темно-рыжей масти Медуза тавро A/6 из 8-й роты в штаб полка".

* * *

— В августе мы услышали свое радио. Что-то говорили. Мы разобрать не могли. Мы сидели на ступеньках, мы обнялись с сынком. Наши! Наши! Может, доживем.

* * *

По немецкому радио из Берлина хор мальчиков пел: "Ничто у нас не отберут…"

* * *

В Ржеве:

— И дым и ужас, не знаю что — воздушный бой называется. И все равно лезут громить склад немецкий — в него бомба попала. Один вез на тележке соль со склада. Убило бомбой. Сбежались к этой тележке. Смерзшаяся. Стараются отодрать.

* * *

Мы вошли в деревню Марьино. Опустошена. Никого нет. На уцелевшем краю деревни разведчики облазили чердаки и подполья, не укрылись ли где немцы. В одной избе в подполье нашли спрятанные в пустой глиняный горшок из-под цветов и забросанные кое-чем исписанные карандашом тетрадные листочки. Отдали мне. Оказалось, это вроде дневника, без дат. Вел эти записи пожилой человек (немцы обращаются к нему

"папа"), одаренный и словом, и наблюдательностью.

Я перепечатала листочки и отдала экземпляр в политотдел. Может, сумеют сохранить, опубликовать, хотя и не очень надеюсь. Записи начинаются так:

"Был сильный мороз, дул северо-восточный ветер, самый страшный суховей, понизу несло снег, а около углов быстро навевало суметы. Я позавтракал, как всегда водится зимой — полез на печку погреться. Вдруг заголосила собака, вкатываются четыре немца — пан, конь — и знаками показывают: иди запрягай коня, нужно ехать. Я ответил им: "Я больной". Они забормотали, а один снова закричал: пан, конь! Я оделся и пошел запрягать коня. Не успел я завожжать, <96> как трое немцев уселись по-бабски, а четвертый взял вожжи, кнут и, когда я кончил запрягать, передал мне преспокойно винтовку.

Едем. Немец машет кнутом, а мой конь и не думает бежать. Я ему говорю: "Пан, надо стебать его, он лентяй". Немец засмеялся, хлестнул раз, кнут положил, закурил и мне дал. "Папа, а далеко отсюда фронт?" — их часть на отдых сюда отвели. "Я не знаю, газет не получаю". Он засмеялся, глядя мне в глаза. "Папа, вам земли хватает?" — спрашивает меня. Оказалось, он немного может по-нашему. "Конечно". — "И нам хватает". Говорит: за что мы воюем? За фашизм, чтобы кучка мошенников господствовала, вернее, прожигала наш труд, развратничала. Пять лет под ружьем до 65 лет. Это легко сказать, а в действительности — кровь из глаз. Гитлер объехал на машинах всю мелочь, он думает и здесь только проехать… Уже несколько месяцев идут кровопролитнейшие бои под Сталинградом, сколько там нас наложили, это уму непостижимо. Мы всю землю там уложили своими трупами. Нашу часть после ожесточенных боев отправили на отдых, а фронт смешался, что трудно понять, кто где, под Смоленск идем что словно в Берлине, а красные как взялись нас крошить — и, пока мы залегли и устанавливали орудия, нас половину перебило… Подъехали к деревне, немцы соскочили и побежали к машинам, а я поехал домой. Вести не сидят на месте, говорит пословица. Зашевелилась деревня, каждый прячет все, режут кур, кто прячет поросенка, все связано со встречей неожиданных гостей".

* * *

15 января. Немцы передают о тяжелых боях между Доном и Кавказом.

* * *

Прошлой зимой, когда в первый же день здесь, на фронте, угодила под бомбы, я потом в избе под негромкий говор собравшихся сюда деревенских женщин, слушая, что с того налета на краю деревни разбиты избы, искалечены люди, вдруг поняла: то, что я пережила, волоча свою пудовую тень в открытом поле, а потом спасаясь в землянке, когда валились бомбы, — это чепуха. И бодрость, с какой возвращалась <97> сюда, словно с боевого крещения, — все это невыносимая чепуха. Потому что то были — всего лишь дымящиеся воронки…

* * *

"Приказание по войскам 30-й армии. 16 января 1943 г. Ком-ру 359 сд:

1. Произвести полную очистку траншей и ходов сообщений от снега и углубить их до полного профиля. В наиболее открытых местах траншеи перекрыть.

2. Все имеющиеся огневые точки очистить от снега и произвести их оборудование".

* * *

Все стоит в снегу. Тихо. Береза, вся в инее, застывшим легким дымком поднимается над крышей.

* * *

Мы пробивались в глубь леса. За нами лопались мины. Лошади, что вынесли по просекам артиллерию на поле, теперь рвали дышла, запутываясь в лесной гуще. Кое-где снег доходил по пояс. Но стихало. И вот совсем стало тихо.

В две-три глотки каркали вороны, перепархивая и стряхивая на нас комки снега с веток. Елки растрепаны, а тонкие ольхи выгнулись от мороза дугой, макушками ткнулись в снег, а их заломленные стволы лишь кое-где в снежных нашлепках.

* * *

"…К 6. 20 части дивизии заняли исходное положение для наступления.

Сводный отряд в 6. 20 перешел в наступление в направлении леса южнее Ножкина и в 7. 30 овладел траншеями на переднем крае обороны противника, на участке леса южнее Ножкина. Наступление продолжается".

* * *

Они уже сушились у разведенного костра, сидя на закоченевших трупах. Здесь, в лесу, как видно, недавно бились, и павшие лежали кого где настигло. <98>

* * *

Жуткое панибратство живых со смертью.

* * *

Говорят, кадровым военным при подсчете срока их службы один день, прожитый на фронте, будет засчитываться за три. А тому, кто еще недавно цивильным был?

* * *

— Сейчас ты ничего, мне нравишься, отошла вроде. А когда первый раз тебя увидела — какая-то замученная, — сказала мне могучего роста баба. — Думаю, где ее достали такую? С креста сняли, что ли? У меня самой вот ревматизм, стучат коленки, аж хлопают. В честь фрицев.

Она побывала у немцев за колючей проволокой — отказывалась работать. На земле спала — ранняя весна, снег еще только-только сошел, вот и застучали коленки.

Кто она, откуда? Пришлая. Но здесь ее каждая уцелевшая изба примет, она ведь любую мужскую работу ворочает. Природные силы в ней огромные.

— Долбалась, долбалась, как черт в грешной душе. — Это она с печью у хозяйки тут навозилась. — Ну, теперь топится у меня на все сто процентов.

Деньги у нее подкопились, а надеть нечего. Если б где купить

можно было, как до войны, "я растолкала б всех, разбила, разбросала и нашла б, хоть и подобрать путем нельзя — мой размер большой".

Когда сидит без дела, свесив к полу огромные кисти рук, она может хоть час, хоть больше наблюдать за возней двух кошек.

— Как вгородила ей в глаз! — Обрадовалась, что старая кошка Мотя наконец дала сдачи маленькой. — Будешь знать, подлюка, как мать задирать.

Приказа над собой ничьего не терпит. И на дорогу снег чистить организованным порядком ни за что не выйдет, хоть судом грози.

— Ешь ты! Не дребезжи! Я честней тебе. А неохота идти. Как тут быть?

А найдет на нее стих — лопату на плечо. И с удалью за троих снег сгребет. Наработается, придет довольная, притихшая.

Скажешь: <99>

— Ну пусть теперь до утра нас немец не тормошит. Спокойной ночи.

Ответит строго:

— Взаимно.

Станет с себя что-то стаскивать, приговаривая:

— Все дранье, все дранье напролет!

Утихомирится и захрапит — не растолкаешь.

А утром как ни в чем не бывало — и не вздумай усомниться — пожалуется, до чего чутко спит:

— Кошка пробежит ночью, я — луп глазами, кто-нибудь охнет во сне, я — луп, ветер дернет ставень — я опять: луп. Так и луплюсь всю ночь, караулю, не немцы ли на подходе.

* * *

О Сталинграде. Немецкое сообщение 23 января:

"Наши храбрые солдаты защищаются от значительно превосходящих по силам и более приспособленных к бою и погоде большевиков".

24 января: о прорыве Красной Армии "на юг от Ладожского озера".

* * *

— Я с дикого ума как стал палить и, представьте, одного немца зажег. Хвост задымил. Попал! А тут наши летят. "Яшки",

давайте! — кричу. — "Яшки!" ("Яки"). Потом мне б только мертвецки заснуть — ничего больше не надо.

* * *

"Приказание по войскам 30-й армии.

1. По реке Волга построить систему фланкирующих дзотов, вести фланговый и косоприцельный огонь по плесу р. Волга. Имеющиеся огневые точки, фланкирующие р. Волга, проверить, а в необходимых местах построить новые.

2. Установить проволочное заграждение через р. Волга в месте стыка с 130 осбр и вдоль берега до стыка с 220 сд, обеспечив прострел их фланговым и косоприцельным огнем".

* * *

Встречная женщина сказала:

— Немец. У него бабий платок толщенный на голове <100> намотан. Соломенные боты на сапоги. Срам смотреть.

* * *

"25.1. 43 г. Колхоз "Колос".

Слушали т. Рыбакова, который информировал распоряжение военкомата о запрещении разрушать военные блиндажи, собрать убитых бойцов на территории земли колхоза и похоронить их.

Слушали т. Рыбакова о подготовке к весеннему севу, который пояснил, что семян на посев нет, поэтому нужно семена изыскивать внутри колхоза, т. е. собрать среди колхозников.

Опросом колхозников установили, что семян у колхозников нет, так как по трудодням колхозники не получали".

* * *

Неведомыми путями дошли стихи угнанной из Ржева немцами семнадцатилетней Веры Виноградовой:

На окраине в темной пропасти,
В Кенигсберге несчастном живу.
Живу-мучаюсь, только думаю,
Как на Родину я попаду.

А ночами мне домик грезится.
Где до тех пор я жизнь провела…
А теперь вот живу я в Германии,
В этой камнем покрытой стране,
Все бетонное, все холодное,
И не тлится ни искры нигде.

* * *

Немецкое сообщение по радио 26 января:

"Наступление Советов на некоторых участках Восточного фронта продолжалось и вчера с новой силой. В тяжелых оборонительных боях против многократно превосходящих сил врага немецкие армии сдерживают угрозу окружений".

* * *

Женщина из Ржева:

— Где наша тюрьма, у них учреждение. Им нужно маскироваться, они там берут простыни для белых халатов. Шьешь. За это банку железную из-под их <101> консервов литровую зерна. На базар что-нибудь вынесешь — немцы на марки что-нибудь купят. А другой — отнимет, а другой — заплатит. На эти марки ведро шелухи купишь у русских, которые на немецкой кухне работают, и добавляем в муку шелуху.

* * *

Приказ: поодиночке не выходить из расположения части. Но сопровождающего мне не дали — бойцы подразделений штаба брошены на передовую, где сейчас на счету каждый штык.

Показали по карте маршрут — в полк, пять километров. Там взяты пленные, надо срочно допросить.

Я шла проселком, потом лесной тропой в изреженном войной лесу и дальше по вытоптанной в снегу тропе, держащейся то у опушки, то скашивающей путь полем.

Всю дорогу сильно мело.

Я дошла в указанную мне на карте точку, где оборону занимало подразделение полка. Здесь была прежде деревня, теперь остался один дом с развороченной крышей, окна без стекол, стены продырявлены пулями и осколками снарядов. За

домом притулилась пушка; ее ночью выкатывают, несколько выстрелов по противнику, и опять прячут за дом. Бойцы находились в землянках, от которых к дому прорыта траншея. Теперь им на горе подкинули сюда, в этот полуразрушенный дом, пленных. Охранявший их часовой не впустил меня. Позвали командира роты. Я намеревалась допросить пленных "на месте", как мне и было сказано. Но командир роты, отметив, что я при оружии — пистолет в кобуре на ремне, — значит, никаких с его стороны нарушений устава караульной службы, поспешно вывел пленных и вручил их мне вместе с их солдатскими книжками.

— Забирайте! Людей у меня побило. Некому да и на черта охранять тут их.

Пленных было трое. Трое верзил в грязно-белых ватных комбинезонах с капюшонами — так обрядили немцев этой зимой на нашем участке.

Командир роты и часовой спрыгнули в траншею и скрылись. Я осталась одна с пленными.

— Пошли! — в некотором недоумении сказала я.

Они за мной. Мы вышли в поле, и я с испугом обнаружила, <102> что за это время снегом замело тропу, по которой я дошла сюда, и мне теперь не пройти наобум тем же путем — собьюсь, заплутаю, еще и угожу со всей компанией к немцам. Ведь сплошной обороны нет.

Как быть? И тут мне спасительным показался провод связи, протянутый на шестах через все поле по азимуту. Он выведет к какому-нибудь нашему штабу…

Я велела немцам идти вперед, опасаясь, что за спиной у меня им легко сговориться и напасть. Теперь они шли гуськом, о чем-то переговариваясь, слова не долетали до меня. Мы были в открытом поле одни, неподалеку в стороне — лес. Было мутно от снега. Больше всего меня страшил мой пистолет, которому я обязана была всей этой ситуацией. Им ничего не стоило отнять его у меня, разделаться со мной и скрыться в лесу.

— Vorsicht! Minen! — Это вырвалось инстинктивно. — Не разговаривайте, не отвлекайтесь! Смотрите под ноги! — прерывала я их разговоры на ходу или сговор, как могло быть. — Будьте внимательны! Ступайте след в след. Не торопитесь!

Мне не было известно, заминировано ли поле, но этот мой призыв "осторожно! мины!" сплотил нас.

Пленные громоздкие, неуклюжие в своих толстых стеганых комбинезонах, переходящих от плеч в капюшон, схватывающий неповоротливую в нем голову, продвигались с опаской, проваливаясь то по колено, то по пояс в снег, тщательно стараясь попасть в след впереди идущего. А я в состоянии предельного

напряжения твердила в голос, замыкая наше причудливое шествие:

— Vorsicht! Minen!

Провод вывел нас на большую дорогу, перешагнул ее и опять ушел в поле. Снег прекратился, стало яснее.

Наконец мы ступили на окраину сожженной деревни. Сюда, кроме нашего, тянулись еще и с другой стороны провода, и я почувствовала, что нескончаемый путь под мой беспрерывный возглас "vorsieht!" окончен, я не заблудилась, я вышла к штабу, — и дикая усталость накатилась на меня.

У ближайшего пепелища копошились женщины, <103> отыскивая хоть что-нибудь пригодное. Они увидели нашу группу, застыли.

И вдруг одна, та, что ворошила лопатой в золе, тощая, несчастная, сама обугленная, как головня, отделилась от остальных и в бешеной ярости, замахнувшись лопатой, метнулась сюда, к пленным.

— А-а-а! — завопила я, кинулась между ней и немцами предотвратить расправу, выдернув из кобуры пистолет и тряся им над головой.

Она медленно опустила лопату с перекошенным судорогой лицом, перевела взгляд с меня на немцев и беззвучно, зло, отчаянно заплакала.

Я плюхнулась обессиленно на снег, сидела, все еще тряся бессмысленно пистолетом, с не унимавшимся из сорванной глотки стоном.

* * *

Немцы передали о Сталинграде: "Войска борются на узком пространстве, окруженные со всех сторон врагом".

* * *

В крайней избе набилось так много бойцов, что все стояли.

Снаружи еще подпирали бойцы, и на печи со страха попискивали, как мышата, ребятишки, а дверь больше не затворялась, и те, из глубины избы, ругали этих, застрявших на распахнутом пороге, настудивших избу.

Хозяйку затолкали совсем к стене, и издалека доносились ее смиренные вздохи:

— Что уж, желанные, грейтесь.

* * *

Кто-то большой стоял на горке, маша руками и настойчиво призывая меня. Надо же — наш почтальон. Письмо! Мистика почтовой связи. Сюда, где наскоро сцепленные из снега валы с бойницами, полевая почта доволочила письма, и одно из них мне.

Я развернула треугольник и при свете луны и снега кое-как разобрала, что письмо из Москвы от брата, что обо мне беспокоятся и ждут домой.

Но как же все отдалилось. Уже не кажется даже <104> правдоподобным московский дом, возвращение. Я уже канула, я — в колдобине войны.

* * *

Трофейные немецкие газеты: "В Сталинграде — судьба Европы".

30 января было десятилетие захвата власти нацистами. Переждав этот день, в Германии 1 февраля дали сообщение о поражении 6-й армии. "Они держались до конца, потому что знали, что от них зависит судьба всего фронта, безопасность их родины". Так звучит признание катастрофы, обреченности исхода войны. Три дня — 3, 4, 5 февраля — объявлены в Германии днями траура.

* * *

Девчонка из-под Ельни. Неброская, миловидная, она затеряна в своем большом полушубке, солдатской ушанке. Снег заметает ее. Она стоит на развилке. Регулировщица. Взмахнутым вверх флажком, подняв в другой руке фонарь "летучая мышь", останавливает машины. Дотошно проверяет документы, присвечивая.

Везут снаряды, горючее, хлеб. Полк пешком на марше. Раненый возвращается из медсанбата, — остановить попутку, подсадить его. С ней шутят, заигрывают, беззлобно ругнут при случае — и дальше.

Неподалеку контратакуют немцы. Ей велено быть на стреме. Если машина, не подчиняясь ее флажку, проскакивает, не остановившись, если вопреки приказу прет с зажженными фарами, она срывает с плеча винтовку, бьет по задним скатам. Свирепая ругань обрушивается на нее.

Сыплет снег. Туман застилает поля и дорогу. Где-то близко стреляют. Фронтовые пути растянулись. Нет сплошной обороны. Чудятся немцы…

Девчонка стоит на контрольно-пропускном пункте.

Вся грубость, удаль, невзгоды, надежды, подъем и тоска войны проходят мимо нее.

* * *

Сколько помню себя, всегда было общее дело. Сейчас это война. До нее общим делом было все то, что называлось "наше время". Его любили, романтизировали. Быть в такой чести у современников — <105> редкая удача для времени. Время, "когда все сбывается". Время, "когда все начинается с нас". А все, что до, — потоп, вывернувший, унесший культурный пласт предшественников, и родовые корни, и само представление о них.

Война бередит — что-то еще такое вводит в духовный оборот, чего не было до нее…

* * *

"Совершенно секретно! Срочно!

…пункт 2. Разрушения при отступлении… Противник должен получить совершенно негодную на долгое время, незаселенную пустынную землю, где в течение месяцев будут происходить взрывы мин… Адольф Гитлер".

* * *

"Слушали. О найме пастуха на сезон лето 1943 года.

Постановили.

Нанять пастуха Павлова Николая на сезон 1943 г. пасти скот в личном пользовании колхозника за оплату с коровы 16 кг. ржи, 16 кг. картоф., 25 руб. деньгами, вынос 4 яйца с коровы. С козы ржи 8 кг., картоф. 8 кг., деньгами 15 руб., 2 яйца вынос. С овцы 4 кг. ржи, 4 кг. картоф., 10 руб. и вынос 2 яйца. Питание готовое, т. е. колхозники, а одежда и белье и обувь, а также спецодежда в счет вышеуказанной платы".

* * *

С точки зрения войны. С позиций войны обо всем. Что же иное, кроме жестокого диктата войны. Чувство сострадания порой тоже перерабатывается во что-то угодное войне. Я не выше, не мудрее, не подлее и не чище войны. Я тоже принадлежу ей.

* * *

Девушка поет:
По улице идитё,
Играйте и пойтё,
Мине беспокойтё
И спать мине на дайтё.
И был в ее пении такой яростный зов жизни. <106>

* * *

"При трудностях связи проволокой и отказа в радиосвязи немедленно организуйте в дивизиях службу летучей связи (конные по принципу эстафеты)…

В полках немедленно закодировать карты и впредь по телефону переговоры только по кодирован, карте или условными наименованиями. О противнике передается в открытую.

Командарм 30".

* * *

По избе носятся соседские дети — мал мала меньше. Их отец, Егор, пропал без вести, мать на дорожных работах, и они набиваются сюда в избу, к старухе. Их суета мешает бойцу, громко рассказывавшему свои военные "охотничьи рассказы".

— Молчи, безотцовщина! — напустился он на детей. — Уйми ты их.

— У Легора (Егора) дети дробные, — сказала старая. — Как их уймешь. Тот молчит, а тот пищит.

— Ребята что мокрицы, от сырости заводятся, — рассудительно сказал рассказчик.

— Ладно тебе, докашливай свое, — призвал бойца его слушатель.

* * *

Бригадир обходила избы, ругала молодую:

— Старухи пятидесяти лет бегут на работу, а эту, гляди, шевелить надо. Сидит на заду сидя.

* * *

Немец, седой, прихрамывающий, негодный — "тотальник". "Кто ничего не делает для войны, должен быть уничтожен" (Гитлер).

* * *

Председателю сельсовета:

"Учитывая срочность работ, имеющих первостепенное значение, предлагаю под вашу личную ответственность завтра же к 9 часам утра выслать полностью все подводы и всех людей согласно наряда райисполкома.

За невыполнение настоящего решения вы будете привлечены к строгой ответственности и по всем строгостям <107> военного времени как за срыв срочных работ, имеющих первостепенное оборонное значение".

А лошади еще в чесотке. И ведь сказано: если пришлешь больную — тоже ответишь "по всем строгостям".

* * *

В войне поначалу как в хаосе. Ты ничтожная былинка ее, может еще не потерявшая своих представлений о том о сем, еще с чувством ответственности за происходящее, вернее, за то, как это происходящее происходит. Потом в этом хаосе окантовываются лица — те, с кем тебе быть. У вас все общее — и бомбы, и холод, и противостояние врагу. Начисто лишенная уединения, не принадлежишь себе, и это тоже способствует применению к окружающим. Уже включена в единую с ними кровеносную систему. И, боже мой, тебе уже легче, роднее с ними, в тебе уже бродят частицы их крови, ты проще, выносливее, тебя меньше мучит совесть, и чувство личной ответственности растворилось вместе с твоим растворением. Ты обработалась войной. И именно тогда слышишь о себе лестные отзывы.

* * *

— Как немцы подходили — все уехали, ни подо мной, ни надо мной нет никого. Чудно. Вишу над землей под небом. А выбили немцев — воротились. Как да что, почему жив, не застрелен врагом? Говорю все как есть, и лопни моя утроба, если что вру. Но послушал их да и впал в сомнение. Может, они знают обо мне того, чего я сам не знаю.

* * *

Реку тяжело завалило снегом. Торчит кустарник.

А в лесу сухие рыжие иголки на снегу. Дорожка черная, захоженная. Лес темный, не шелохнется. Пробивается солнце — глянцевое, мерцает, запорошенное зимними облаками.

Воронка. Черная земля на низу.

* * *

Во фронтовой немецкой газете приведена выдержка из книги "Гитлерюгенд":

"Фактически сжигание — <108> это специальность новой молодежи. Границы малых государств империи также были превращены в пепел огнем молодежи. Это простая, но героическая философия: все, что против нашего единства, должно быть брошено в пламя".

* * *

В освобожденной деревне. Вокруг бойцов кружком девчата. Глядят не наглядятся. А одна, выбравшаяся из Ржева, всего хлебнувшая, непримиримо так спрашивает, запальчиво:

— Где ж вы были в январе год назад? В Ржеве тогда немцы в панике бежали. Русская речь слышна была уже в Городском лесу и со станции. Особенно ранним утром. На чердак заберешься, хочется крикнуть: "Русские, идите!" Голыми руками взяли бы их. Тут бы все помогли. Где ж вы были?

Нахмурились. Что солдат может ответить? Молчат. А один нашелся.

— А что? — Отставил ногу в валенке, пристукнул пяткой, покачал носком и с вызовом: — Чем в поле помирать, лучше в бабьем подоле. Там и пригрелись.

И, унося обиду, пошли они, не вылезавшие из боев, своей

дорогой, в пекло войны.

* * *

Длящаяся уже полтора года война имеет свое прошлое, значит — историю. То, что происходит сейчас, — хроника. А то, что было в войну год назад, — уже эпос. Во всяком случае, я имею возможность это ощутить, потому что мы возвращаемся на места, связанные с тяжелыми днями прошлогоднего февраля, когда дивизии были отрезаны от своих. Сейчас на этих пожарищах, в этих лесах, на этих большаках память выносит из глуби (год прошел!) целые куски пережитого. И все то, что пережито тогда, видится уже на отдалении и, может, даже сейчас сильнее и драматичнее, и всем, кто выжил, памятна та ночь. Мне рассказали о ней:

…В лесу велено было не скопляться кучно, чтобы меньше было жертв в случае налета. Все были строго предупреждены не производить шума, разговаривать потихоньку, костров не разводить. Все же вспыхивали огоньки, прикрытые ветками хвои, и подсаживались <109> погреться у этих чадящих маленьких костров. Медленно тянулось время. Голодные люди спали, подостлав под себя лапник. Когда стало смеркаться, все пришло в движение, слышались команды, люди выходили из лесу и, строясь, потянулись по дороге. (Теперь, когда я мысленно вижу эту колонну — у многих винтовка без патронов, годна лишь для штыкового боя, у других все равно что нет ее, потому что обморожены руки; солдат, шатаясь, изнуренно несет на себе ручной пулемет; раненые ковыляют, поддерживаемые товарищами, — я понимаю — то был марш отчаяния. Но тогда в этом потоке, втягивающем все новые толпы, стекавшиеся из лесов, людям чудилось — они необоримы.

В темноте терпеливо тащились неведомо куда, меся снег, по занесенным дорогам и полям, обходя деревни. Только слышно было, как выкликали номера частей, как командиры высылали боевое охранение или брали людей сменить тех, кто изнемог, идя впереди и протаптывая дорогу по пояс в снегу.

Где-то в стороне пролетали змейки трассирующих пуль. Повсюду было тихо. Но ночь кончалась.

Здесь, на близких к немцам подступах, рассредоточить такое количество людей, чтобы перебыть светлый день, не было возможности. И людская масса, захваченная стихией движения, была уже неостановима. Поток валил и валил неудержимо вперед.

Развиднелось. Стало видно, что с дороги отходят в сторону, садятся на снег те, кто совсем обессилел и не мог больше идти. Затравленно, с тоской в глазах или с безразличием смотрят на проходящих мимо. Кто-то громко просит, чтобы его пристрелили, и зло матерится вслед.

Уже командирские бинокли различили у деревни копошащихся немцев. И оттуда в свои цейсы с недоумением и наверняка с испугом обнаружили скопище нашего войска.

Всполошенно ударила вражеская артиллерия.

Дым накрыл наше войско, вопли раненых и разорванные тела.

Вдруг одинокое пронзительное "ура" и разноголосый отклик ему, разросшийся в неописуемое мощное "ур-ра-а". Все, кто был жив, поднялись с бешеным <110> ревом, рванулись, чтобы колоть штыком, душить врага.

Немцы побросали орудия. Казалось, еще немного… и в неистовом броске всей массой сомнут их, проломятся.

Но люди путались в глубоком рыхлом снегу на поле, спеша, застревая, валясь друг на друга, барахтались, поднимаясь. "Гранаты к бою!" — но их было еще не добросить до врага.

У немцев хватило времени понять, что наши без огневых средств. Стали рваться на поле снаряды, заулюлюкали мины, свистя, лопаясь.

Люди увязали в снегу, осев, пропадая…

Кто мог стал отползать к лесу.

* * *

"Приказание по войскам 30-й армии.

1. На дивизионных саперов возложить разведку и устройство проходов в минных полях, их обозначение и обеспечение порядков дивизий.

2. На армейских саперов возложить расчистку и расширение проходов в минных полях, их четкое обозначение и обноску жердями и указателями. Разминирование населенных пунктов, обозначение основных маршрутов и населенных пунктов указками…

3. Для расчистки дорог от снега и содержания их в проезжем состоянии начальнику инженерных войск армии выделить на каждый маршрут не менее одного инженерного батальона и по два трактора с угольниками".

* * *

"Мы завоюем мир силою торжествующего меча", — сказал Гитлер.

Ржев все время именовался немцами "трамплин на Москву". Отсюда "торжествующий меч" должен был обрушиться на ее голову.

Теперь, после сталинградского поражения, Ржев переименован — он "трамплин для русских на Берлин". Сдать Ржев, говорится у немцев, это значит "открыть Красной Армии дорогу на Берлин". Сдать его нельзя ни при каких обстоятельствах. <111>

* * *

"Штаарм 30. Боевой приказ № 0018.

215 сд действиями штурмовых отрядов овладеть Знаменское, Гришино, улучшить свои боевые позиции и быть готовой к общему наступлению на Ржев".

* * *

Поступают донесения, что в связи с угрозой окружения немцы готовятся отходить, оставить город. По приказу командарма разведчики брошены на захват контрольного "языка". Неудача за неудачей и жертвы среди разведчиков. Наконец захвачен пленный.

— Выделили нас девять человек, чтобы достать "языка", то есть живцом немца. Вот в ночь перед двадцать пятым февраля добрались мы через реку Волгу в траншею врага и захватили матерого фрица без выстрела и шума и потянули на реку Волгу. Половину прошли Волги, потом враги подняли шум, начали по нас стрелять, и троих из девяти человек враги убили, но, оставши в живых, нас шесть человек притянули матерого фрица, и в следующую ночь, перед двадцать шестым февраля, мы подобрали своих убитых товарищей и отправили в тыл на похоронения.

* * *

Этого пленного в расположение КП привели с завязанными глазами, как предписано инструкцией, но увидеть такое довелось впервые. Командарм допрашивал сам, я переводила.

Опрос не вносил никакой ясности — пленный только дня два

как прибыл сюда на участок и был совсем несведущим. И вдруг под конец он между прочим сказал: вчера приказано всем сдать вторые одеяла в обоз, оставить по одному. Для нас это сообщение означало многое: да, немцы готовятся отступать.

* * *

…Танки, что стояли в укрытии, где-то в стороне, неожиданно загрохали, перекатывая сюда. И стало надежнее.

По лесу в сопровождении штабных приближался незнакомый командир — высокий пожилой человек в ушанке, отделанной серым барашком.

Танкисты выключили моторы, в открытых люках виднелись их шлемы. Все смолкло, все смотрели на <112> подошедшего командира, стало слышно: стучит дятел, а вдалеке раскатывается канонада.

— Смелее, братцы! — крикнул командир. — На врага!

Пехотинцы быстро размещались на танках. Грохнули, захлопываясь, крышки люков, взревели моторы, заклубился дым. Танки двинулись, вышвыривая из-под гусениц снег, разминая завалы, кромсая на пути деревья, не сваленные топорами.

Какой-то нерасторопный, замешкавшийся, не попавший на танк боец, со скаткой одеяла и закопченным котелком на боку у ремня, спеша, бежал по гусеничному следу, вскидывая винтовку…

* * *

"Командарм приказал:

боевые донесения командирам дивизий и бригад представлять точно каждые два часа — каждый нечетный час".

* * *

Хрустнул, обломался сухой сук. Покапал мартовский дождь — весь снег в оспе.

— Снег грубее становится, садится. Теперь свалишь дерево, по сукам идешь — не проваливаешься. Птиц стало слышно, когда не стреляют.

* * *

…Я почувствовала легкость, вроде бесплотна, и только щемящее душу воодушевление…

И сейчас, когда записываю в блиндаже, в безопасности, думаю: что это было такое пережито? Много ли за жизнь таких высоких, отрешенных минут выпадает? Но ведь были эти минуты, и не в первый раз были, их у меня не забрать, что бы там ни случилось дальше со мной.

* * *

Еще недавно немцы упорно твердили по радио: "Сдать Ржев — значит сдать половину Берлина, так сказал фюрер". Теперь они стремятся отвести войска, пока не замкнулось кольцо окружения вокруг Ржева. <113>

* * *

Танкист:

— Меня направили сбить водонапорную башню. С нее немцы просматривали далеко и корректировали огонь. Шесть боекомплектов было израсходовано за один светлый день. Водонапорная башня была изрешечена, как решето, простым глазом на большое расстояние видны дыры. В этот же день левее меня мужественно сражался бронепоезд "Муромец".

* * *

Вырвавшиеся вперед, они теперь лежали на поле серыми кулями, замерев неподвижно, чтобы казаться убитыми. Светало, и теперь немцы могли различить их и стрелять не наугад, на выбор.

* * *

В отбитом Кокошкине. С проселочной дороги карабкаемся на гору, где разбитая церковь. Церковь завершала пейзаж всей округи — самая высокая точка. Здесь была укрепленная огневая позиция наша, потом с нее били немецкие орудия. Боже мой, какая господствующая высота. Под кручей — замерзшая Волга, по ней переход в Ножкино, сожженное. А вокруг — протяжные, дальние белые дали.

* * *

И когда мы врагов здесь разгромим
И спокойно вздохнет наша Русь,
Из разбитого города Ржева
Я к тебе, дорогая, примчусь.
(Сержант М. Щ.)

* * *

В блиндаже начальника штаба Родионова.

Связной командира полка принес первое донесение из Ржева. Я попросила разрешения переписать в тетрадь: "Очищаем город от автоматчиков. Штаб полка разместился Калининская ул., 128".

Второй связной: "Трофеи 1000 вагонов. Население согнано в церковь. Церковь заколочена, вокруг заминировано".

Еще донесение: "Заминированы дороги, дома, блиндажи. Разминируем. Очищаем город от автоматчиков. В южной части города — сыпной тиф. Трофеи — 30 танков". <114>

* * *

— Через реку Волгу мы пошли сегодня в восемь ноль-ноль в наступление — освобождать наш родной город Ржев. В городе в церкви были замкнуты граждане — жители города: старики, дети, женщины. Когда мы их освободили, они говорили, что пробыли в церкви пять дней не пивши и не евши, около двухсот человек, и этим мы им спасли жизнь, что не управились враги народа уничтожить этих безвинных людей. И я как участник освобождения этих граждан не забуду этот сегодняшний день.

* * *

Странно торчащая над всем изрешеченная водонапорная башня, черные обломки зданий, засыпаемые снегом. И больше нет — ничего. Это и есть Ржев?

Как пронзительны, торжественны и скромны эти минуты. Мы в Ржеве. 3 марта 1943 года.

Вечереет. На путях пыхтит бронепоезд. <115>

Ворошенный жар

Неворошенный жар под пеплом лежит.

Пословица

Глава первая

1

И вот мы во Ржеве. Посреди улицы. Какая странная неправдоподобная минута.

Дым ползет из-за бесформенной груды развалин, полузанесенных снегом. Надо всем бессмертная водонапорная башня. С нее садили немцы, по ней били мы, она все еще цела.

Перестрелка отдалилась. Гарь. Пороховой дым. Запах войны. И щемящее чувство безопасности. Близко, на путях, сопит бронепоезд. Мглистый ранний вечер. Пустынно во всю глубину разрушенного, сожженного города. Только белые саперы в маскхалатах медленно прощупывают улицы черными миноискателями.

На этот раз не было великих боев, танковых побоищ. Противник сдал город, не принял сражения, отступил, прикрывая отход главных сил арьергардными частями. Но что ж с того? Что ж с того, когда семнадцать месяцев пути назад сюда, во Ржев, когда каждый метр к нему и даже топтание на месте вымощены крестной мукой.

* * *

Наша армия заняла Ржев 3 марта 1943 года. Перед тем как войскам выступить, наш командарм расположил свой НП среди стволов в березовой роще. Командарм маялся в нерешительности. О Ржев столько раз разбивалось наше наступление, и сейчас, после победы в Сталинграде, когда все внимание. Москвы приковано сюда, он не мог просчитаться и медлил. Ему нужны были гарантии, что на этот раз заговоренный Ржев поддастся, будет взят. <116>

Командарм был красивый человек, черноволосый, с крупными чертами лица, похож на грека, возможно, греком и был. На нем лежал романтический отсвет Испании, где он начинал вторую мировую.

В его манере иногда бывало и нечто светское, выпадавшее из общего тона. В часы затишья он, случалось, прохаживался в накинутой на плечи бурке, со стеком в руке, явно искал успеха у штабных женщин, был с ними галантен, наступателен и великодушен, если терпел поражение. По правде сказать, он был какой-то залетной птицей.

Прежний командующий, бритый наголо, круглоголовый, в

танкистском комбинезоне, был грубоват, прост, терпеть не мог в армии женщин, почему-то называл их кефалями, я об этом когда-то упоминала, и, если проведывал о связи командира с женщиной, обрушивался на него с бранью. Его непримиримая угроза: "Кефалишь?!" — долго помнилась в армии. Но казалось — тот был самобытней, смекалистей, надежней. То был "солдатский генерал". Но его от нас забрали, перебросили в Сталинград. Армия воевала под началом другого человека.

* * *

Контрольный "язык", которого захватили наши разведчики, оставался тут же на НП в землянке. Препровождая немца по роще в блиндаж командующего, ему завязывали глаза. Хоть такое и предписывалось инструкцией, но не придерживались, а тут и вовсе было проформой — немец прижился у нас на НП, пообвык и хорошо знал, куда его ведут. Он стал непременной принадлежностью этого НП, об него испытывалась стойкость нерешительности командующего. Он опять и опять принимался передопрашивать пленного. Я переводила, и очень старательно, потому что угадывала, что командарм понимает язык пленного. Он вообще был образованнее, чем выказывал. Глаза его под скачущими черными бровями сверкали любознательностью. Состав его жизненных сил был многообразен.

Как бы там ни было, сколько ни мусоль вопрос, из ответа пленного выходило, что медлить нельзя: немцы эвакуируют Ржев, и наша артиллерия будет разить пустоту, и соприкосновение с противником будет утеряно. <117>

Вот что грозило. А войска стояли наготове, ждали приказа наступать.

Все разрешилось ночным звонком Сталина. Он позвонил и спросил у командарма, скоро ли тот возьмет Ржев. Ржевский выступ, нацеленный противником на Москву, постоянно беспокоил Ставку. И командарм (легко вообразить себе его волнение, и дрожь торжественности в голосе, и подавляемый страх, и взлет готовности) ответил: "Товарищ Главнокомандующий, завтра же буду докладывать вам из Ржева" — и двинул войска.

* * *

Помню канонаду во мгле начинающегося дня. Отчаянную

канонаду накопившей мощь артиллерии. Молчаливую подтянутость всех. Отрешенность. Топтание с ноги на ногу на снегу перед получением задания. Пар дыхания, клубящийся у лиц. По-бабьи смятое лицо связного Подречного, стянутое опущенными концами ушанки, и неизменное его выражение доброты и всполошенности.

Мне, переводчику, велено находиться в наступающей дивизии.

Какую-то часть пути мы с Подречным исхитрились катить в санках, возивших тут до войны фининспектора по налогам. Подречный правил. Ветер. Снег мело накрест: слева направо и справа налево. Столбы полевой связи, казалось, перебегали дорогу, падая в снег. Город Ржев, изувеченный, снесенный снарядами, выжженный, разбомбленный, прямо перед нами.

"Наблюдательный пункт дивизии. Начальник штаба подполковник Родионов — голая куполообразная голова. Ярки и неподвижны черты лица. Руки с усилием отделяются от туловища — перед ними телефонный аппарат, они крутят его, встряхивают. И ровный голос Родионова докладывает, требует, выпрашивает, грозит. Смолкает. И опять наваливается наше общее оцепенение ожидания" — это я записала тогда в своей тетрадке.

Но вот взвизгивает дверь блиндажа, вваливается связной командира полка в белом маскировочном халате, неуклюжий, как снежная баба. И к нему — рывок окаменелого тела Родионова. Связной копается у себя на груди: завязки маскхалата, телогрейка, гимнастерка… Из-под всего, из самого нутра извлекает сложенную <118> вчетверо бумажку, снег на его капюшоне тает, стекает по лицу.

Родионов нетерпеливо разворачивает первое донесение: "Очищаем город от автоматчиков. Штаб полка разместился Калининская ул., 128".

Ходуном в груди — свершилось!

* * *

"Дорогая наша Лена! Сколько прошло лет, а тот день во всех подробностях… Я увидел Вас на улице города…"

"Дорогой Валентин Владимирович! Вы позвали идти пить чай на бронепоезд. С чего не пошла, не помню. Жалею. Во Ржеве, в первый вечер, на том отчаянном изрешеченном бронепоезде выпить кружку горячего кипятка — как было бы памятно сейчас".

А еще жалею, жалею горько и непоправимо, что не написала ему тогда, а говорю лишь теперь навсегда ушедшему: "Вас я

помню и вспоминаю часто все, что связано с вами. И знаете, больше всего даже не храбрый ваш бросок на бронепоезде, а то, что вы, член Военного совета армии, а до того, в тридцатые годы, работник агитпропа МК, считали возможным говорить нам, что чтите Мейерхольда".

* * *

Но вот пишу: "Я — во Ржеве". Написала эту фразу и робею. До этого рубежа я иду многие годы, теряя одного за другим тех, кто разделил бы со мной смятение и ответственность повторного вступления в тот Ржев.

2

Во втором донесении от вступившего в Ржев командира полка сказано: "Население согнано в церковь. Церковь заколочена, вокруг заминировано"…

Что это было, я вникла потом, через много лет, вернувшись в Ржев и отыскав людей, что пережили заточение в церкви, ужас ожидания мученической смерти.

А тогда они, освободившись, разбрелись, скрылись. Город был мертв. "Город был мертв", — подтверждают увидевшие его тогда. И это ошибочно. Город не бывает мертв. Что-то скрытно для глаз копошится, цепляется за жизнь, гибнет, истлевает, цепенеет, проклевывается. И как ни отчаянно разрушен он, все же не дотла. <119>

…Одноэтажный, дореволюционный, купеческий, добротной кладки дом. По фасаду трещина, угол разворотило снарядом.

В доме резанули глаз белоснежные, накрахмаленные кружева: подзоры, накидки, занавеси в проеме дверей, на окнах. Пылающий начищенной медью самовар… Домовито. Белые в розах чашки, полоскательница, сахарница, подносы, подстаканники.

Можно было напороться, входя, на все что угодно, вплоть до окоченевшего трупа, — людей убивал голод, снаряды; их пристреливали. Но чтоб белоснежные кружева в гибнущем в пекле войны городе — дико, непостижимо. Кто-то неукоснительно, усердно справлял тут свой военный фарт. Так оно и было. Здесь жил бургомистр. Когда ударил сюда наш снаряд, бургомистр остался цел и невредим. Он лежал в тифу. Он завернулся в одеяло и ушел в тифозном жару за немцами. В доме никого не было.

Чем пахнет в блиндажах противника, я знала, а чем пахнет быт недавнего бухгалтера пивзавода — бургомистра фронтового

города, откуда было знать. Еще держалось в доме тепло, сочился приятный печной дух, витиеватая вьюшка свисала на цепочке.

Что в доме был тифозный больной, мы внимания не обратили. Но то, что он ушел в тифу, в бреду и, дремучий, кашлатый, завернутый в одеяло, где-то на железнодорожных разбитых путях дожидается поезда — это от меня почему-то не отходило.

3

Когда-то в разговоре с Твардовским (обсуждались замечания по моему рассказу) я говорила, что Ржев — одна из самых кровоточащих ран войны. Нет другого города на нашей земле, где все связалось в такой жестокий узел — семнадцать месяцев не только оккупация, но и тягчайший фронт. Голод. Насилие оккупантов. Изуверство предательства. Осатаневшие немцы-фронтовики. Страшный лагерь советских военнопленных. И город — под беспощадным обстрелом своих, под бомбами днем и ночью.

В запале я неожиданно извлекла со дна души какие-то, должно быть, убедительные слова (захочешь повторить <120> — не сможешь). Твардовский молча проницательно слушал — это ведь он написал бессмертное "Я убит подо Ржевом", — сказал с подъемом и требовательно: "Вот так прямо и напишите. Толстой в "Войне и мире" писал прямо… Почему бы и вам не написать?"

Пример Толстого не облегчал моей задачи. Но, дописав кое-что из высказанного тогда в разговоре, я вернула рукопись в редакцию. Твардовский распорядился сдать рассказ снова в набор. Он не отступался, если решал печатать вещь.

* * *

Там был приведен подлинный эпизод.

Женщина, отрезанная в оккупированном Ржеве от своих детей, оставшихся в деревне у матери, перешла линию фронта на нашу сторону. В родной деревне эту женщину до войны невзлюбили: ее муж в городе работал, а ей не с ним жить, а тут, в деревне, милее, слаще, привольнее на отшибе соломенной вдовушкой в бессовестный загул ударяться. А что теперь, застряв у мужа в городе, она в материнской тревоге, рискуя быть подстреленной и с той и с этой стороны, пустилась с белым платочком в руке на огненные заслоны войны — к своим детям, односельчан не смягчило. Было им известно: ее законный служит немцам, в городской управе он начальник транспортного отдела. И взалкали мщения ей.

Жене изменника родины грозил арест. Но чтоб искупить вину мужа, ей было предложено послужить родине, вернуться в Ржев, склонить и мужа к искуплению — пусть он добудет схему минирования немцами города на случай их отхода, предотвратит жертвы. Идти она не хотела, ведь это — от детей, назад, сквозь огонь, к нелюбимому мужу, к немцам. Но не было у нее выхода, и пошла. На том обрывается ее доля в рассказе.

И вот в Ржеве по пустынной улице мимо нас по снегу темной кучкой проковыляли узники немецкой городской тюрьмы. Кто-то волок салазки с сидевшим на них больным мужчиной — начальником транспортного отдела городской управы. Его жена, вернувшись от нас, была схвачена немцами и сгинула неизвестно где и как. А он, заподозренный, брошен в тюрьму. <121>

4

Во второе лето войны Михаил Луконин писал мне в письме из действующей армии: придет ли для нас такое время, когда мы станем следить не за самолетами, а за порхающей бабочкой и цветок в траве не покажется нам кровью?

Все, что не война, скрылось, перекрыто войной.

А недавно в новом цветном фильме о войне я увидела нестерпимо красочный, пышный, красивый мир природы. Но на фронте природа отвернулась от нас. Оставались только ее стихии: снег, распутица, жара, дождь. Мы переставали различать ее краски, подробности. Война была для нас (во всяком случае на ржевской земле) черно-белая.

И черно-белым был взятый зимой Ржев. Черно-белой была в кружевах берлога бургомистра.

* * *

Ко времени взятия Ржева я осталась единственной переводчицей в штабе армии. Другая переводчица уехала на родину, в Сибирь, — рожать. А надобность в переводе прибавилась. Здесь была неметчина: бумаги городского делопроизводства, комендатуры, личные удостоверения жителей… Многое из того, что за пределами чисто войсковых задач. Сюда, в дом бургомистра, меня то и дело вызывали.

Все семнадцать месяцев борьбы за Ржев, все траты духа и крови, весь порядок и хаос войны и ее повседневность знали великую цель — изгнать врага с нашей земли. Для нас это значило — вернуть Ржев. Мы ринулись в оставленный врагом измордованный город, не ведая, что движемся навстречу ангелам и бесам, вывернувшимся из преисподней войны.

Таинственное приникание к черно-белой бездне. Таким было мое ощущение в том Ржеве. Едва ли сходное испытывал капитан Калашников, по мирной профессии газетчик из Сталинграда. Для него этот Ржев — всего лишь небольшой филиал состоявшейся предварительно в его городе большой победы. В известном смысле так оно и было — немцы после Сталинграда вынуждены были оставить Ржев под угрозой окружения. Но Ржев — это нечто совсем, совсем особое. И здесь впервые война стала предъявлять нам то, что заглотала. <122>

* * *

В доме бургомистра я увидела Алмазова.

Недомерок в буром треухе, наползающем на обмякшее лицо, рот застыл в корче.

В городе все, что хоть чуть копошилось, подавало признаки жизни, — все возопило: Алмазов!

Он работал в немецкой комендатуре. Выслеживал, выискивал, сгнаивал свои жертвы. Он же вламывался в немощный рыночный круг, отбирал последнее.

В доме мартовский проливной свет — на выскобленные добела незатоптанные половицы. Дрожание солнечного столба и изнуряющий душу мрак — Алмазов.

Капитан Калашников, немного развинченный победой, подступающий к нему: "Предатель!"

Перекошенный рот Алмазова. Не то взвоет в истерике, не то стравит через губу: "А-а, какого еще лещего!"

Шуршание — свояченица бургомистра, бесшумно проникшая в дом, снует серой мышью, сноровисто обирает кружева. Старший лейтенант из политотдела, не поднимая головы спиной ко всем корпевший за столом над немецкими инструкциями, дернулся от дел, обернувшись, и тоже: "Предатель!"

Бесцельность вопроса, уличения. Предателю надо иметь что предавать: совесть ли, родину, друзей. Он неохватнее, сложнее. А Алмазов весь сполна здесь, в первородности зла. Не будь оккупации, как-то на свой лад неопознанно прожил бы. Окороченный. А тут — звездные часы неукротимого бесовства.

Старший лейтенант вдруг отделился от венского стула, неуклюже сунулся в проем за кружевную занавеску. Чего это он туда забился?

Я не знала раньше этого человека и не запомнила, как он выглядел до того. Из-за занавески он вышел со стертым, помертвевшим лицом.

Неподвижная, набухающая кошмаром минута.

Что пережил он, стоя за занавеской? Лихорадочное: избегнуть, уйти, не признать? Возможно. И все же то был миг собирания опешившей души.

— Братец! — тихо охнул, признав, Алмазов. Руки заметались, сдвинул со лба треух, невнятно забормотал.

А тот ни с места, окаменел, как перед неотвратимым роком. И мгновенное обретение Алмазовым себя. Как страшно оно. С угодливостью: "Родимый!" — выпячивая <123> кривые губы. В глазах вожделение: пропадая, подцепил напоследок жертву — сводного братца, — поволок за собой и его судьбу.

Замешательство. Такая тишина, что секунды, кажется, тикают в висках.

5

"…В общем, под вечер, когда запад бывает багряным, иногда все же посмотрите туда, там рождается и начинается Волга, там Ржев, от Ржева начинается край красивых голубоглазых людей (не все, конечно, но многие), и идет этот край туда, к Новгороду. Край, где двадцать пять лет назад бушевала война, — писал мне незнакомый человек Ф. С. Мазин, прочитавший мои рассказы о боях на ржевской земле. — А к концу зимы 42-го г. в Ржеве уже улицы трудно было различать, ходили все в любом направлении, не признавая переулков, как в пустыне какой идешь, одни трубы торчат, а дома также выделялись как-то местами, которые уцелели.

А до войны Ржев утопал в садах, и птиц было несметно, а небо чистое над тобой, потому что ждешь своего запущенного голубя или не зевай, если чужой показался, а когда смеркалось, то по улицам везде на лавочках сидевшая молодежь пела под гитару, очень любили песни в Ржеве. А зимой на Волге были кулачные бои — тот и этот берег Волги сходились на льду стенкой, — и так до 39-го года, когда ребята ушли на финскую, с той поры — конец. И был еще аэроклуб, и мы, мальчишки, конечно, мечтали летать. Все было. А многие жители не могли покинуть свой родной город и были в нем даже тогда, когда не было уже ни птиц, ни кошек, одни бомбежки, снаряды, голод и тиф".

6

Кто-то снаружи пнул входную в дом дверь. Тяжелые шаги в сенях и с напором распахнулась дверь, ведущая сюда, к нам. Огромного роста человек, дико одетый: немецкая офицерская шапка, куртка. Стал в дверях, ногу в немецкой бурке — на порог, плечом уперся в косяк, — картинно и жутко.

— Вот вернулся, — осипло сказал не сразу. <124>

Калашников с ходу возбужденно:

— Курганов?!

— Так точно. Я — Курганов. — Большое, темное, изрубленное шрамами лицо, без преувеличения сказать — страшное.

Воцарилось такое напряжение, что само собой отринуты, поблекли, иссякли Алмазов вместе с его обмершим братом.

— Вот так. — Калашников просиял от своей быстрой догадки. — Курганов, значит. — Зашарил по карманам кисет с табаком. — Дверь-то затвори, не май месяц…

Тут как раз вошел в дом майор Левшин из разведотдела.

— Курганов, — кивнув на него, засиял снова Калашников.

Окинув взглядом стоявшего в простенке между дверью и шкафом Курганова, потом капитана Калашникова с его лоснящимися тщеславием круглыми глазами, майор смахнул исказившую было лицо досаду на него, что ни серьезности ни профессионализма, и попросил оставить его вдвоем с пришедшим Кургановым.

* * *

А было так: летом бежал из Ржевского лагеря военнопленный — перешел линию фронта к нам. Заросший, растерзанный, в грязной нательной рубашке — гимнастерку содрали с него полицаи. На груди в клочьях рубашки — орден Красного Знамени. Хранил его под подкладкой в сапоге и сейчас привинтил. Сомкнул задники сгнивших, трухлявых сапог — беспомощно осекся, не мог вскинуть руку к непокрытой голове, прохрипел, пересиливая грохот пальбы, первому, кто подбежал к нему: "Подполковник, летчик… Был сбит над Ржевом… Сегодня бежал…"

Кто такой? Как сумел убежать? Почему живой?

И в глазах летчика страдание прозревающего: линию отчуждения перейти еще труднее, чем линию огня.

Бежать ему помог лагерный полицай Курганов. Пленных ежедневно отправляли под конвоем на передний край укреплять немецкую оборону. Кого ранят, немцы добивали, и никто не пересчитывал возвратившихся. Курганов предупредил летчика, что ночью на работах поставит его в подходящее место, отвлечет внимание немцев и полицаев. И пусть он уходит обратно к своим <125> Этот случай произошел до того, как мы стали побеждать, когда отступники, предатели, казалось, могли бы прикинуть, что пора искупать вину. Был разгар успешного наступления немцев на юге, судьба нашей родины была в опасности, и здесь у нас, под

Ржевом, было крайне напряженно, ждали их удара отсюда на Москву. В этих условиях лицо, устроившее побег пленного летчика, не могло не заинтересовать. Был снаряжен "перебежчик" — молоденький солдат. Ему было задано, оказавшись в лагере, пользуясь доверием (перебежчик) полицаев, колготиться вблизи Курганова, понаблюдать его и, изловчившись, остаться с глазу на глаз с ним, сказать следующее: "Дядя Ваня, армейская разведка вступает с тобой в связь". От летчика было известно: кое-кто из приближенных к Курганову пленных, из тех, что помоложе, зовут его дядя Ваня.

Дошел ли тот "перебежчик", сумел ли выполнить задание — неизвестно. Обратной связи не было. Да и линия фронта стала к тому времени сплошной — не протиснешься.

И вот — сам Курганов. И не с повинной головой, а вроде как свой к своим. В немецкой-то форме?

7

— Что ж такое, по-вашему, был этот Курганов? — спрашиваю через двадцать пять лет военного хирурга Георгия Ивановича Земскова (мы съехались в Ржев на юбилей освобождения города).

Мне бы, наверное, самой и не узнать Георгия Ивановича. У него теперь тучное крестьянское лицо — так бывает, что с возрастом в человеке отчетливо проступает коренное. И весь он раздался вширь. А тогда-то это был высокого роста изможденный человек с заросшим щетиной лицом. По мере того как он приближался, что-то в его облике властно оповещало о мужестве, благородстве, достоинстве.

Это ведь теперь многое известно о сопротивлении в лагерях смерти, а тогда-то и понаслышке мы едва что знали, и чтоб вот так воочию…

Когда Левшин пожелал остаться с Кургановым наедине, я, выйдя на улицу, увидела приближавшегося сюда человека с длиннополом пальто, прихрамывающего. Это был Земсков. Он только-только выбрался из <126> туннеля под водокачкой, где скрывался, бежав из лагеря военнопленных вместе с двумя товарищами — членами созданной им в лагере подпольной группы. Те оба ушли в запасной полк, а Земсков не смог.

— Я поранил ногу, не особо, уже после, когда выбрались мы из туннеля. Мина жахнула неподалеку. Уж не помню, кто указал мне, где штаб. Вот как раз тогда пришкандыбал.

— А вел он себя грубо в лагере? — Я опять о Курганове.

— А как он мог вести себя, по-вашему, ведь если и конспирация… Но это мои соображения, можно сказать, нынешние. Он меня вызвал. Являюсь в землянку: сидит за столом выпивший. Накурено, ничего не видно. Всем, кто был, приказал

выйти.

"Что вы хотите, господин начальник?"

"Я хочу, чтобы ты выпил шнапсу. У меня к тебе разговор есть".

"Посмотрите на меня, Иван Григорьевич, я человек истощенный, причем переболевший тифом, я — бессильный человек".

"Пей!" — Курганов взревел, стукнул кулаком по столу.

Я немножко совсем выпил и стал закусывать хлебом с колбасой. Я недоверие к нему имел.

"Когда ты убежишь?"

Это меня испугало. У нас уже решение на этот счет состоялось. Февраль. Уже разгромлены немцы под Сталинградом. Отсюда откачнутся, а лагерь — угонят. Надо уходить.

Говорю ему: "Я за лагерь-то выйти не могу. Снег глубокий вокруг. У меня и в уме нет. Зима. Я после болезни. Погибну".

"Пойдешь к Левшину. Привет, скажешь, от дяди Вани".

"Куда же я пойду? Кто это такие?"

Он стал плакать. Ну, думаю, пьяный. Он лег на стол и уснул.

Я пришел к своим товарищам. Надо уходить. Курганов знает. Кто-то продал.

Курганов плакал. Перепоручал свой привет, не надеясь вырваться. Сам же с немецким комендантом и офицерами гнал военнопленных на запад. Но вот в пути бежал, <127> вернулся. Сам принес привет, свою голову тому самому майору Левшину, к которому поручал Земскову идти с приветом от него.

— Выходит, — сказал Георгий Иванович, — я тогда вошел в дом чуть ли не следом за ним. "Здравствуйте", — отозвался майор, что вел разговор с Кургановым. "Ты чего ж не сказал тогда, что уходишь?" — спросил Курганов. "Я, знаете, Иван Григорьевич, я не должен вам говорить. Я вас знаю как полицая". Он закурил. Он курящий человек.

8

Вскоре тут же после освобождения Ржева направлялась в Москву полуторка за рулонами бумаги, за копиркой, конвертами и всякой канцелярской всячиной, без которой, оказалось, не обходится война. Я попросилась съездить повидаться с родными, только что вернувшимися из Сибири, из эвакуации. Мне разрешили, а точнее — поощрили этой поездкой.

Штаб Западного фронта стоял за Подольском, и с нашего участка войны путь к нему шел через Москву. И уж коль снаряжалась за какой-либо надобностью машина в Москву, что случалось редко, то находились дела, чтоб заодно ей ехать до штаба фронта.

И на этот раз на первом контрольно-пропускном пункте

машину задержали, водителю вручено было новое предписание прибыть без задержки в штаб фронта, а на обратном пути взять в Москве груз. И в пустой кузов подсажены двое. Один из них Курганов. Другой — сопровождающий его старшина-сверхсрочник, до войны служил на границе, там принял первый бой. Он не очень молод, но ловкий, веселый, отлично плясавший, если случалось где, под гармонь.

Отъехали порядочно. Стук по крыше кабины "Стой!" Стали, вышли из кабины. Старшина уже спрыгнул. Курганов тяжело спускался из кузова. В немецкой форме, огромный — шарахнешься, увидев.

Вблизи на месте прежних колхозных служб все было покорежено, и старшина послал водителя натаскать сюда кое-какие обломки. Сам от Курганова — ни на шаг.

Сложили сообща костер, плеснули бензина из канистры — огонь занялся.

— Давай сушись, грейся, — старшина Курганову. <128>

Подкатили к костру бревно, уселись. Курганов вытянул ноги к огню. От серых немецких бурок повалил пар.

Мы сидели на бревне, все четверо подряд, молча, без разговоров. Огонь нас сблизил.

Я украдкой взглянула на Курганова. Мне показалось: ему отпущены немереные силы и злость без управы на них — куда заведут. Могут на самое черное дно, а могут взметнуть со дна в злом, по-черному же, разгуле, чтоб без оглядки, без ропота принял он любой удар на грудь себе, смертельный также.

Тарахтел невыключенный мотор. Шофер ерзал, отлучался к машине. Вставал попрыгать на месте старшина, греясь. Кое-когда доносился отдаленный рокот фронта. За костром все терялось вокруг из виду. И подступало чувство отъединенности, затерянности.

* * *

Уже гуще темнело. С размятого большака съехали на проселок, полуторка кувыркалась с боку на бок — как уж их там, в кузове, перекатывало, — водитель, подсвечивая подфарниками, вытянул к селению. Еще держалась вечерняя белесость неба, на его фоне чернели избы. Водитель вышел, стукнул в ставень и, не дожидаясь отзыва, поднялся на крыльцо, взялся за щеколду. Я вошла за ним. В избе на лавках сидели несколько женщин. Искрила лучина.

О этот особый уют вечерних посиделок в войну, когда не

привычка, не досуг — стягивала друг к другу вьюга войны, чтоб не поврозь — в куче — терпеть, пережидать. Неспешный разговор о том о сем, короткие, бедные новости, лукавое привычное, а то и скабрезное словцо, смешок и вздохи, тютюканье ребенка, а то и затрещина тому, кто постарше, живое печное тепло, потрескивание лучины — всё, не зная того о себе, наперекор бедствию, скорбям, лихолетью.

* * *

— Переждем у вас ночь, — не спросил, известил водитель; отказов мы не ведали, хоть и далеко фронт передвинулся отсюда, а все подчинены ему.

— Так и напугать недолго. Отвычны. Нас-то военные давно покинули.

Женщины зашевелились, стали поправлять платки на себе, обстреляли ласковыми глазами неказистого малого <129> — водителя, усердствовали: защитнику, мол, завсегда рады, — и меня с любопытством оглядели. А хозяйка, сучившая нить, выжидательно, без радушия что-то соображала, надкусила нитку и так с ниткой в зубах обмерла — в избу старшина пропустил вперед себя Курганова.

Оторопь. Кто-то ахнул:

— Хриц!

— Русский! — хрипло, испитым голосом сказал Курганов.

Половицы под ним оседали — махина, вольно прошел по избе, сел у печки.

Женщины стушевались, еще немного побыли молча… В недоумении гуртом двинулись к двери.

Хозяйка так и не вышла из замешательства. Немудрено. Странная мы были компания.

Водитель забрался спать на полати. Я улеглась на лавке, завернувшись в полушубок. Напротив по ту сторону стола, сидя на лавке, перебывали ночь эти двое. Лучина давно прогорела. На столе в плошке, залитой бензином, зажжен фитиль, дрожащий огонек подсвечивал их снизу.

Я избегала смотреть на посеченное шрамами и в рытвинах, крупное, смуглое лицо Курганова. За Кургановым — обрыв, мрак, какие-то темные вины. Но вот не остался под защитой немцев, бежал, вернулся, пришел сам. Это потом только узнается: посланный им назад к нам с выполненным заданием — с важными для нас разведданными — тот молоденький "перебежчик" не дошел, убит при переходе линии фронта.

Кто и как решит теперь судьбу Курганова? Что перетянет — вина или заслуга? И получит ли он возможность доказать, оправдаться, искупить, наконец?

Зато смотреть на подсвеченное огоньком лицо старшины было успокоительно. Оно у него какое-то опрятное, с общевойсковым, можно сказать, выражением добросовестности и солдатского долга, и черты лица небольшие, как раз в меру, ничего в них затейливого. Растопырив на столе локти, он уперся кулаками в скулы, клевал носом.

Курганов курил завертку — старшина отсыпал ему махорки, — закашливался гулко, простуженно, сплевывал на пол, наклонясь. И тогда его тень, качавшуюся на <130> бревнах стены, сволакивало вниз. Сказал громко, мрачно, надтреснутым голосом:

— Да ты спи, старшина. Не сбегу я.

* * *

Был разгар мартовского яркого дня, когда мы в Москве въехали на улицу "Правды" в первый налево тупик, где и сейчас, замыкая его, стоит дом под тем же номером один дробь два, тогда цвета бурой кирпичной кладки. Я выскочила из кабины, промелькнувшие улицы, родные места — все было для меня невнятно. Я была захвачена волнением от предстоящей сейчас встречи с близкими, для них внезапной. Мы не виделись больше полутора лет войны.

Я взялась за борт, поднялась, встав на колесо. На дне кузова, зарыв в солому обутые в бурки ноги, сидел Курганов, с ним рядом — старшина.

— Пойдемте, погреетесь, — сказала я Курганову, может и скованно. В доме были пожилые люди, потерявшие на фронте единственного сына, убитого осенью на юге. Человек в немецкой форме не мог не ошарашить жестоко.

Старшина охотно откликнулся, он не прочь был погреться, еще предстоял немалый путь, а отсесть от Курганова в кабину не имел права.

Курганов посмотрел мутно, щелочками затравленных глаз, мотнул головой:

— Не пойду.

Я снова позвала.

— Пошли, а то еще ехать и ехать. Погреемся, — сказал старшина.

Окоченевший, прибитый Курганов вдруг зло и властно

цыкнул:

— Вези куда надо!

Полуторка развернулась и выехала со двора.

9

Два дня — это мало и много. Дома с родными, на улицах, на спектакле в театре, осажденном жаждущей зрелищ безбилетной публикой, в институте, где сложены громоздкие дымящие печи и бродят тощие и бойкие, недоедающие мои сокурсники, в горячке встреч, объятий, восклицаний — нигде не оставляла меня болезненная <131> растравленность своей чужеродностью всему тут. Уже ни к какому быту, я чувствовала, что неприложима, кроме быта войны.

* * *

Полуторка вернулась из Подольска, из штаба фронта. Старшина, когда "сдавал", как он выразился, Курганова, тот застонал и горько укорил напоследок:

— Эх, старшина, что ж ты не сказал, куда везешь!

Куда же он его там сдавал?

Пройдет много лет, прежде чем я что-либо узнаю о Курганове.

* * *

В Ветошном переулке на складе водитель получал по накладным рулоны сероватой писчей бумаги и рулоны оберточной на конверты, чернила, сургуч, клей. Они со старшиной расторопно загружали полуторку. Когда с этим было покончено, мы забрались в кузов, подняли откинутый задний борт, уселись на всю эту канцелярию войны, и я развернула замотанные в теплое, еще не совсем остывшие картофелины, что мне дали дома в дорогу.

Мы сидели в кузове, на верхотуре, макали в соль картошку. Я была уже в пути обратно домой, на фронт, в свою армию, и чувство потерянности отступало вместе со всей странной, забытой мной, нестерпимо почужевшей жизнью города.

"Вот когда читаешь про Ленинград, как там было написано на стенах. Эта стена наиболее опасна при артобстреле, — написал мне в письме все тот же незнакомый Ф. С. Мазин. — А в Ржеве мало было таких высоких стен, и не было таких властей, чтобы позаботиться писать, и прятаться было не за что, большинство

домов деревянные были, и за какую стену прятаться и не знали, бомбы летели кругом, а снаряды из-за Волги летели. Но тогда никто на наших за это не обижался, потому что все понимали, война есть война, и откуда нашим знать, кто там где сидит. Все ждали своих, и у каждого был кто-нибудь в армии.

Мне что понравилось в Вашей книге, так то, что Вы в войну, находясь на высоте положения, все же при штабе армии, не теряли взгляда человека на топчущее войной окружающее. <132>

А до войны я семилетку не кончил, ушел в ремесленное училище, и было мне тогда 14 и 15 лет во время нахождения немецких войск в Ржеве.

В 43 г. в начале января я был ранен в правую ногу. Через год нога зажила. После войны я работал на строительстве Сталинградской ГЭС механиком 2-го участка, а потом переехал в Москву и работаю в СМУ.

А точнее меня Вам никто не расскажет о Ржеве, который отделяла тогда от наших войск, где Вы в то время находились, сильно укрепленная фронтовая линия немцев.

Вот так бывает. Какие будут вопросы, пишите".

* * *

Не дожидаясь вопросов, Мазин слал письмо за письмом, вспоминая разные случаи из пережитого и виденного, горячо и настойчиво призывая меня написать о Ржеве тех дней и наставляя, как мне следует писать.

* * *

"Название можно бы дать "Тайны Ржева". А еще хорошо бы дать вот такое очень удачное заглавие к рассказу подходящему: "Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда". Или вот так: "А мать сыночка никогда…" А то, что я тогда летом писал Вам о названии книги, так я ведь просто поделился своим мнением с Вами, не на людях и не где-нибудь".

* * *

"Или вот еще что. Среди немецких солдат было распространено при разговоре с населением такое выражение:

"Капут машинка", если не ладилось с мотоциклом, зажигалкой, и о живом организме тоже — то, если чихнет, пальцем ткнет в нос себе: капут машинка!

Неподалеку от нас во дворе стояла кухня, и мы, несколько мальчишек с консервными банками, где-нибудь притаившись, ждали и, когда закончат с котелками подходить солдаты, к кухне, подходили, и бывало так, что немец наливал кому доставалось этого густого супа. Пока там не стала работать девушка, та носила с собой бидон на полведра, повар наливал в него что оставалось, и нам не стало доставаться. Так мальчишка 12 лет, он <133> жил в том доме, где кухня, он хотел ее отвадить, унизить. Сидит он на своем заборе и играет на губной гармошке, а она вышла, и он ей вдогонку при поваре тоненьким голосочком:

Вас костэт, Нинка,
дайнэ капут машинка?[1]

Слова этого куплета обычно мальчишки старались пропеть в адрес тех девушек, которые гуляли с немцами, на мотив "Итальянская крестьянка", который немцы тогда играли на губных гармошках".

* * *

"Жил я в 150 м от Казанского кладбища. За полтора года фронта многих мальчишек, которых я знал тогда, не стало. Некоторые из-за своей неосторожности были подорваны, другие попадали или под сильный обстрел, или бомбардировки, или с голоду…"

* * *

"Так вот, летом 1942 г., когда бомбили наши самолеты Ржев всю ночь подряд, одна партия самолетов улетает, другая прилетает, вынужден был и я бежать в тот подвал под Казанской церквой. Там под церквой был хороший подвал с массивными железными дверями, были прямые попадания в церковь снарядами тяжелыми, но до подвала не достало, и он уцелел во время войны. Так вот, в самый подвал я не пошел, а остановился там на ступеньках около двери и немного приоткрыл ее. Смотрю, там много старушек верующих и на разные голоса кто шепотом, кто вполголоса шепчут молитвы: "Царица небесная, пресвятая

богородица, прости ты мою душу грешную. Царица небесная, прости ты мое согрешение". А наверху все кругом горело и трудно было дышать от всякой гари, и почти не переставая колыхалась земля.

Я стоял, слушал и думал, а почему же они обращаются к царице небесной, а не к самому богу. Потом подумал, богородица, может, она мать бога. Хотел у кого-нибудь после у них спросить об этом, но к концу войны этих старушек уже никого не стало". <134>

Глава вторая

1

Я вернулась из Москвы после двухдневной побывки снова во Ржев. И вроде заново увидела его.

Господи, это же мой город, сметенный боями за него, полузанесениый снегом. Сражение, поглотившее сотни тысяч солдат, не знало пощады к человеческим очагам, не ведало ни в чем неправоты и никакой другой ответственности и назначения, как только — победить.

Сражение — путь к цели — динамично, властно, яро. Сама история предопределила его. А отвечать за все немцам.

И цель достигнута — Ржев наш. Короткая остановка в пути. Заминка. Выходит, победа статична — не расшвыривает на ходу, не сбрасывает, не переступает, — стягивает все в узел. И стоишь с перевернутой душой, в ответе за все.

* * *

Земсков залечивал ногу в расположившемся здесь медсанбате. Оттуда его вызывали в дом бургомистра. Изнуренное лицо его с запавшими щеками, скуластое, с твердо очерченным ртом приковывало меня. Он был прост, достоверен, и его мужественность проста, природна, чиста — ни жеста в ней, ни натужности.

Иногда я встречалась взглядом с его серыми, сосредоточенными и прямо смотревшими глазами и цепенела от охватывавшего меня порыва прислониться к его плечу, так притягательна была надежность, угадываемая в этом человеке, одетом в темное пальто, придававшее ему чуждый в глазах освободителей облик, словно ему надлежало оставаться лишь в том, чем наделила его армия, хотя от всего армейского уцелела на нем в плену одна нательная рубашка.

Фронт продвинулся на запад. Во Ржеве было тихо; тревожно пахло мартовским, рыхлым, подтаивавшим в солнечные часы снегом. Уходила зима. И с нею целая эпоха народной жизни с ее великим самоотречением. Да, что-то кончалось, начиналось что-то другое, душа войны менялась. Томила беспредельность жизни ли, войны, и, как в Москве, подкрадывалось горьковатое чувство одиночества.

Позже Земсков снова воевал, был ведущим хирургом <135> медсанбата, награжден тремя орденами, в отставку вышел только

недавно. А тогда его проверяли. Почему оказался в плену?

— То, что вы в душе имели, что вы — человек, эти честные свои переживания не всякому вывернешь, — вспоминая, рассказывал он мне, когда мы встретились через много лет, как я упоминала, на юбилее освобождения Ржева. — Под Смоленском, возле города Белый. В лесу мы. Еще много людей в лесу. Раненые. Командир медсанбата погиб — на дороге разбили машину.

"Все уходят, — шепчет ординатор, присланный новым командиром. — К вечеру надо вам уходить".

"Кто же все? Люди ранены, как бросить!"

Потом, уже после плена, пройдя через все мытарства, столкнулся на фронтовой дороге с тем человеком, который заменял тогда павшего командира.

"Как вам не стыдно, вы бросили нас, сколько раненых!"

Не всякие командиры были на своем месте. Если б я думал о спасении своей шкуры, я бы тоже мог уйти. А что бы я сказал людям? Чем я помог им там, среди лесов? Может, не так уж много. Кого перевязал, кому что. А как я мог их бросить…

Войска были, техника. Все истинные желания воина, чтобы быть честным в бою, его готовность на жертвенный бой — всего этого было недостаточно. Нужна была организаторская сила.

Мы присоединились к кавалерийскому полку. Командир полка был еще на месте. Мы посчитали, что с ним выйдем. Он велел прорубить чащу — дорогу, по которой вывезти орудия. А их всего три было на конной упряжке. Начали с вечера. Думали, часа за два-три, а потратили из-за трех орудий, которые бы лучше бросить, всю ночь до утра. Значит, оставили выход на вечер.

Истинное, а не лживое впечатление осталось у меня обо всех окруженных. Никто не хотел сдаваться. Голодные, где-то вокруг Оленина, в лесах, грибы ели, ягоды, искали яйца птичьи, ели. В каждом окруженном я видел честного воина. Они готовы были пожертвовать жизнью, но идти только к своим. Я говорил вам, к этому командиру кавполка стали все примыкать. Он хотел, но, может, он был неопытен, он молод был. Упустил <136> время. Ночь ушла. А немцы начали нападать, расчленять.

Все раздробилось на мелкие части, и организацию очень трудно было восстановить. Под обстрелом разбегаются.

Я был старшим по званию. У меня компас, карта. "За мной, без разговоров! Задний следит позади. Если что, ударьте меня по руке, но ни слова". Натолкнулись на заставу. Ракета вверх. Это мы знаем: будьте добры, на землю. А как она упала, она немцев ослепила — бегите! Лесом ночью нельзя идти. А лесом — днем, видим, куда наступить, чтобы не такой треск.

Под обстрелом оказались в реке. Сапоги, брюки на мне, а

гимнастерку снял — документы в ней, — держу над водой. Поначалу тихо. Немцы нас до середины реки подпустили и открыли огонь. Тут глубоко. Тут нас завертело. Кто спасся, выбрался. Группа все таяла.

Так нас двое осталось на семнадцатый день окружения.

Вышли на опушку. Рано. Туман. Петухи поют. Деревня маленькая. Тихо, как будто немцев нет. Ползком мы проползли к деревне, метров двести. Тихо. Деревянный крайний дом, рубленый, сосновый, а внизу выпилено два венца — для чего? — наподобие амбразур. Мы влезли в эти дырки. Дальше идти не решились. Думаем, побудем. Пол над нами рассохшийся, щелястый, видно в щели, что там, над нами. Вошел мужчина, высокий, слазил в печку, достал себе что-то покушать и ушел. Мы ожидаем, что будет дальше. Вошла женщина, солидная, лет пятидесяти пяти. Мы почему-то решились:

"Мамаша! Немцев нету?"

Она завертела головой, запричитала испуганно:

"Кто тут? Да кто, господи, тут?"

"Тише! Мы только спросить, мамаша. Мы у вас в подполе. Сейчас уйдем".

"Ай, батюшки! Так у нас же немцы". И с воплем выбежала.

Немцы где-то во дворе у них спали. Тотчас окружили дом. Они: "Выходите!" Автомат в амбразуру. Деться некуда, вышли. Народ стал сходиться. И хозяйка тут, суетится, старается людям сказать, что не по ее вине, что она не причастна. И какой-то мужчина таких же пожилых лет, косой, видно, жизнь его так истерзала, что он — раб. Подошел: <137> "Пане хорошие, не бойтесь".

А то мы сами не знаем, какие они.

Они нас держали, может, полчаса, может, побольше. Две женщины стоят, не уходят. И конвоиры говорят нам: марш. И из деревни. Куда, что, мы не знаем.

Слышу окрик — женский голос. Те две женщины. Они попросили разрешения подойти. Руки под фартуком. Немцы разрешили. Они дали нам хлеб — по буханке — и заплакали. Немцы тут же: "Weg!" (Прочь!)

Привели нас в соседнее село, чистенький дом. Один прошел в дом, другой с нами остался. Вышел немец, оказывается, комендант. Ввели. Переводчик: "Раздеться догола". Что-то искали. На гимнастерках искали следы орденов. Вернули. У нас только по гимнастерке. Вернее, у меня и ее не было. Утонула с документами в реке.

Когда нас вывели на улицу, девочка, лет пятнадцати, кажется Маруся, вышла и моет посуду.

Мы на бревна присели. Немцы-конвоиры с нами. Вышел переводчик. Мой второй спрашивает: "Нас что, расстреляют?"

Мне так обидно показалось, зачем он спрашивает, — что уж, за душой ничего не осталось?

"Ха-ха-ха, Маруся, их что, расстреляют?"

Она заревела, бросила мыть: "Я что, этим занимаюсь!"

Тут легковая машина. Уехал комендант. "В отпуск, в Германию. Ваше счастье", — переводчик говорит.

Подошла крытая брезентом машина: кирки, лопаты. Куда же нас? Минут через десять остановилась машина — под брезент впихнули еще двоих, чумазых. "Куда нас везут? Нас вчера в баню посадили".

Судьба есть судьба. Впечатление, что отвезут и расстреляют.

Привезли нас в Ржевский лагерь. Сначала через мяло полиции, тумаки, побои, в лучшем случае — в спину тычок, а то и по уху.

Мало-мальски что-то похожее на добротное отбирали, оставляли в одном белье. У нас уже ничего не было. У меня была летняя гимнастерка, порванная в лесу. Простите, я в одной бельевой рубахе был. Гимнастерка у меня утонула. Держал над водой, чтоб документы уцелели. А как немцы накрыли огнем, тут нас завертело.

Внутренняя картина лагеря, образно выражаясь, — <138> это ад, переполненный страданиями. Среди лагеря — виселица как страшилище: две петли качаются, готовы принять нагрузку. В мое прибытие в лагере было военнопленных до двадцати тысяч. Это на территории товарного двора — там около квадратного километра.

Люди, измученные, голодные, загрязненные, с открытыми ранами на теле, больше лежали на земле. Среди них и трупы лежали.

Кто не лежит, слоняются голодные, обессиленные, натыкаются на полицаев. У тех наломанные на болоте сырые палки, что гнутся хорошо, но не ломаются. Лупят, пока она как мочало. Слышатся пронизывающие до боли страдальческие крики избиваемых. Была там яма, видимо, раньше помои выливали, потому что там грязь всякая и кислота. Изобьют иной раз и бросят в яму. И помочь не могут люди. Только когда уйдут полицаи, кое-кто подойдет, поможет вытащить.

Был врач. Еврей. Он подходит к одному, другому: "Я молдаванин".

Зачем ты говоришь всем?

Потом подходит: "Я переводить буду".

Ого, куда ты попал. На третий день он пропал.

Раз в сутки — баланда из древесной муки и нечищенного, немытого картофеля. Все двигались, некоторые ползли к кухне за получением порции.

Какая ни плохая баланда, а покушать вам ее не во что. Банку вам никто не доверит. Есть такие дельцы, что он вам даст банку, с тем чтобы вы взяли, он сегодня-завтра будет за вас есть, а там вам отдаст.

В лучшем случае ржавая консервная банка или просто черепок от разбитого горшка, некоторые пользовались рваной обувью или лоскутом кожи от обуви. Другие подставляли свои пригоршни, обжигаясь, глотали баланду.

А при раздаче баланды особо свирепствовали немцы и полицаи. Потехи ради избивали пленных.

Привезли мороженую картошку, воз высыпали на землю и смотрят, как живые скелеты набросились на нее, сырую едят. Гогочут и из автомата по ним. Опять жертвы.

Вода. Впрягутся в бочку пленные. За водой на Волгу. А сколько воды нужно! Врасхват. Не можно без воды.

Большими группами ночью гоняли на передовую. <139>

Укрепляли, рыли окопы. Об этом вы слышали. Сегодня наши нарушат, завтра — поправлять. Они хотели не своими руками поправлять. Все, кто уходил, знали, что гибель неминуемая. Раненых они не приводили оттуда, кого ранило с нашей, советской стороны, немцы добивали, чтобы не видели те, кто завтра пойдет.

В лагерь возвращались только целые.

Смерть от мучений и издевательств быстро подкатывалась к каждому, к тому же ужасные кровавые поносы и тиф уносили с земли сынов России.

Зимой в снег, в сугроб сунут, занесет, и все. Летом копали канаву вдоль проволочного заграждения, складывали трупы штабелями, откопанную землю на трупы. И его такая участь, который забрасывает. Но долг есть долг — пока зарыть своего товарища. Кто хоронил, через день или позже они тоже умирали, и их закапывали другие. Так бесконечно рылась канава…

Жуткое было положение. Каждый знал, что погибнет, да хоть с голоду, страдания немыслимые, а не шли во власовскую и в полицаи.

2

Листаю старые записи тех дней, когда мы вступили во Ржев. Начало марта 1943-го: "Небо и снег одинаково молочно-серые, слились. Только в одном месте небо продырявлено — мерцает свет и видно, как клубятся облака. Но вот заволокло и там, небо недвижимо сплошь".

И еще в тот же день. Помечен час — 17.50: "Светло, с какой-то примесью сумерек. День пасмурный, небо ватное".

А сбоку на полях той тетрадки: "Земсков". И опять: "Георгий Иванович Земсков".

Что это вдруг далось мне тогда, все небо да небо — от внезапной тишины, что ли. По земле, по снегу надо было ходить со вниманием, глядя под ноги, — повсюду вспороте воронками от бомб и снарядов. Тут и там щиты: "Не проверено от мин. Держитесь левой стороны!", "Разминировано", "Внимание! Осторожно на спуске к Волге".

Несмелые дымки снизу — из подвалов, землянок. Редко кому повезло, чтоб дом сохранился или хоть угол какой от него остался. Немцы, отступая, жгли, взрывали <140> все, что еще уцелело. Но только мы заняли город, уже на другой день из ближних деревень, из лесу люди стали возвращаться на пепелище. Продирались из немецкого тыла назад, сюда, те из угнанных, кто смог бежать.

Селятся все больше в немецких "бунках", что по окраинам и у Городского леса, — здесь страшное побоище с самой осени и всю зиму. Обгоревшие танки, опрокинутые грузовики, вздернутые вкривь и вкось черные стволы орудий. Останки врезавшихся в землю самолетов. Разметанные каски, клочья одежды. На корявом, схваченном солнцем, почерневшем от гари снегу — изжелченные потеки крови. И по всему полю из-под осевшего снега или поверх него — вразброс и вместе вповалку — искромсанные, окаменевшие солдаты.

Из областного центра Калинина поезд довозит до Городского леса, дальше железнодорожное полотно взорвано. Назначенные властью на работу в освобожденный город одиночки, сойдя с поезда, бредут потрясенно по Городскому лесу по указанной им тропе. "Не сворачивайте! Здесь мины!", "Идите по тропе!", "Будьте осторожны! Слева от вас противотанковые мины!"

Дымят немецкие "бунки". Женщины, замотанные в платки, сунувшись наружу набрать снегу в немецкие котелки, зачарованно смотрят, как эти свежие люди, приезжие, идут, сняв шапки, с непокрытой головой, как встают на колени у скопища побитых, убогих, заледеневших, неприбранных солдат. Женщины стоят, стынут с пустыми котелками в руках. Иссохшие от страданий, все до дна выплакавшие глаза заволакивает — не иссяк колодец души.

Тогда на тропе, ведущей от Городского леса, кто-то сказал:

— Они отдали свои недожитые жизни за освобождение Ржева! Вечная им слава!

* * *

В статике тех победных дней, в смолкшем, распахнутом пространстве, не иссеченном теперь боями, стали возникать незнакомые до того фигуры — хоть полуживые, хоть смотреть больно, а все же из-под немцев. "Братья и сестры на временно оккупированной врагом территории!" — обращались к ним наши листовки.

Годом раньше в деревне, переходившей из рук в руки, <141> женщина с исступленным, темным лицом сказала: "Мы тринадцать дён были у немца". Сказала и чем-то незримо отделила себя от нас — знает что-то, чего мы не знаем. Какой-то опыт у нее, превышающий наш. Так то тринадцать дён. А тут почти полтора года.

— Ведь была возможность отправить нас в Башкирию, — сказала мне одна женщина. — Когда мы хватились, дошли до Торопецкого тракта, глядим — танки, свастика…

Одни б ушли пешком, другие, может, не решились бы — с детьми, со стариками, — от своих стен, огородов. Ну а после, сколько ни саботируй, погонят дулами автоматов, плетками снег расчищать, или на кирпичный завод замурованный в печах кирпич доставать, или из тюремного белья шить им маскхалаты. Их власть, их сила.

Как только не исхитрялись вывернуться — с риском, да каким! — и нередко удавалось, хотя за работу все же то талоны на льняное семя дадут или банку супа из костяной муки ("Сейчас у всех желудки от нее больные. Режет. Нолевая кислотность"). А то постирать белье принесут. Девчонки пели: "Шелковый синий платочек немец принес постирать. Мыла брусочек, хлеба кусочек и котелок облизать".

Ведь в оккупации человеку хоть чего-то поесть надо, матерям детей накормить. Голод — медленная, мученическая смерть.

А мы думать забыли, что жизнь имеет свои изначальные неодолимые свойства и запросы, свою какую-никакую меру.

Какая еще из себя жизнь, когда кругом — одна война, и надо подыматься в атаку, может, победить и все же пасть, как те, что полегли на всем пути к Ржеву.

С высоты их заслуженной вечной славы и вечной горечи за их недожитые жизни ощутим ли трагический хаос палимого войной города?.. Труден перепад — не осилить. Да и замешкаться нет возможности: "Вперед, воин! Гони врага с нашей земли!"

Сам невоюющий люд чтит превыше всего муки воинов, не примеривает к ним свои испытания. Войну воспринимают просто как злую напасть, неумолимый рок. И все праведные муки войны

— на полях сражений, а их собственные — издержки ее.

И даже та женщина, сетовавшая — а это было редкостью, <142> — что не призвали уходить, когда оставляли наши войска город и еще можно бы успеть, сказала о пережитых бомбежках:

— От немца обидно погибнуть, от своих — нет! Даже не страшно. Ждали своих. Ждали очень. Только одно было желание: скорей бы!

Терпели. И ждали. "Значит, верили во что-то…" — сказал Земсков.

3

— Вы вошли, Георгий Иванович. Я тогда переводила трофейный приказ. Вы спросили, не помешаете ли…

— Как же, помню. Вы любезно заверили, что нет, не помешаю.

— Еще и свояченица бургомистра тут была. Принесла какой-то помятый самовар взамен, а тот сияющий, — он все еще стоял на столе в окружении стаканов в подстаканниках, как при хозяевах, — взяла. Она так и застряла с ним, прижав к животу, на вас уставилась.

— Ну, не помню. Возможно, узнала. Я вам говорил, в городе не было ни одного врача. Время от времени меня направляли из лагеря к больному. Так что доводилось ходить по городу с полицаем за спиной или с немецким охранником. Ну, и население узнавало меня.

— Вы спросили, не могу ли я вам дать листок бумаги.

— Да, я решил тогда изложить письменно…

— Я как раз закончила перевод. И мне надо было отнести его начальнику разведотдела. Я поднялась, но мне показалось, что вы что-то хотите сказать…

— Сказать? Да если и собирался, разве упомнишь. Столько лет. Ну а сожалел, что лишаюсь вашего присутствия, это, наверно, так. Я, знаете, в вашем присутствии чувствовал за собой что-то свершенное, что оно в действительности было.

— Я, Георгий Иванович, относилась почтительно к вам.

— Да, доверие ваше я чувствовал. А в моем положении дорого…

Я промолчала. В каком же таком положении? Разве мог кто-либо усомниться в подлинности того, о чем <143> говорил, что представлял собой Земсков. И ведь уже была откопана в указанном им месте — в лагерной уборной — черная бутылка с засунутыми в нее протоколами заседаний подпольной группы.

Мне казалось все счастливо завершенным. Человек остался верен себе и еще — героически возвысился, пронеся в зловещем плену в чистоте свою стойкую, верную душу, и увлек за собой

других, не дал свалиться в пропасть тьмы.

Так с чего же эта появившаяся угрюмость в глазах?

4

Из писем Ф. С. Мазина.

"…"Издалека Волга, течет моя Волга…" И в том издалека верхним городом на Волге, неподалеку от жемчужины России озера Селигер и Валдайских ключей, откуда начинается Волга, был старинный русский город Ржев, утопающий в зелени садов и раскинувшийся по обеим сторонам Волги… Вот, может быть, подойдет такое начало для Вашей книги о Ржеве.

Но, конечно, я это просто набросал без всякой обработки. Вообще, такое начало чем хорошо, что сразу всем известно, где происходит действие, и оно широко".

"В один из вечеров майских 1942 г. я пошел посмотреть на берег Волги, что там творится. Волга все же тянула меня. До войны в теплое время всегда можно было видеть прогуливающихся людей по обоим крутым берегам. И вот я пошел на высокий берег. Прогуливались немцы, группами, громко разговаривали. Кто-то играл на губной гармошке нашу песню про Степана Разина, и немцы пели: "Вольа, Вольга, мутэр майнэ!"

А по большому извозу около Казанской церкви спускается к Волге упряжка из двух лошадей с короткими хвостами и телега с бочкой, на телеге сидит немец, едет за водой. И мне вспоминается только что перед войной просмотренный кинофильм "Волга-Волга", где поет артистка Любовь Орлова в роли Дуни: "Не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды". Я пошел домой". <144>

"Когда пришли немцы в Ржев, они привели на Волгу 14 человек, повесили каждому на грудь фанеру с надписью "Коммунист", 7 человек привели на один берег около самой воды, а 7 человек на другой берег и расстреляли и 3 дня не давали их убирать. Это было около деревянного моста, так как железный мост был взорван нашими при отходе.

По этому деревянному мосту я как-то проходил в 42-м, в апреле, когда шел лед, по нему ходили немцы с баграми и смотрели, что плывет с верховья. Если плыл мертвец, если он немец, то они его вытаскивали, а если плыл наш, солдат, то толкали багром и отправляли дальше вниз по течению. Так, я видел, они подтянули багром какого-то голого, немного приподняли его багром, посмотрели, что на груди нет у него металлического жетона с адресом его дома, и толкнули дальше. Он был рыжий, лишь небольшие волосы прорезались, подстрижен недавно наголо, видно, наш солдат, плыл он оттуда, от Ножкино".

* * *

"А на работу собирали так: утром по улице проходит жандарм или двое, на груди у жандарма была такая металлическая в виде полумесяца белая бляха и на ней написано "фельдгендармери" (полевая жандармерия). Заходят в дом, если кого застанут из трудоспособных, то выгоняют плеткой на работу и на сборный пункт. Ведут с оружием".

"Когда наши отходили, то подожгли продовольственные склады, продукты сгорели, а соль осталась, немного только обгорела сверху. И вот жители натаскали соли по нескольку пудов, начали ходить менять ее на хлеб в район станции Ново-Дугино, это туда, к Вязьме" Меняли пуд соли за два пуда ржи. Два раза ходил туда и я… Так вот, туда надо идти 80 км, пуд соли на себе, и обратно — 80 и с грузом в два пуда. Так что трудоспособные, спортивные люди шли на такой марш ради спасения своих родственников".

"Но вот еще что. Я вот знал каких дураков в Ржеве до войны или у которых с головой было не в порядке, во время оккупации немцы их всех перестреляли. Не так чтобы собрали их куда, а где попадется. <145>

Потом немцы не любили еще уродов. Я знал такого одного, его звали Петька Криворотый. Он до войны где-то работал, он был не дурак, но у него лицо было такое очень длинное и рот очень набок. Он когда смотрит на кого, немного страшно становится. Был он такой высокий и как будто женатый. Жил он в маслозаводских домах, еще у него было прозвище Акула. Так его тоже расстреляли".

* * *

"Много можно еще чего написать про Ржев. Я пишу вкратце, а если что надо будет описать подробно, то опишу.

Можете даже написать мою фамилию, за правильность своих показаний я ручаюсь, иначе с какими глазами я мог бы приехать в Ржев к своим землякам. Вы, конечно, представляете".

* * *

"Роман писать необязательно, можно написать и действительное произведение. А романы ведь кто читает, кому все равно, что читать, было это в действительности или не было…

Люди после войны, жаждали настоящих событий, каждому хотелось увидеть что-то знакомое. Событий хватало, и люди хотели с ними встретиться на страницах книг.

…Появись на лотках где-нибудь новая книга, как продавца быстро обступают, Вы и сами это замечали, все ищут какой-то истины".

5

Когда Земсков, войдя в дом бургомистра, попросил у меня листок бумаги, он перед тем, поздоровавшись коротким наклоном головы, снял заношенную матерчатую шапку со свалявшимся меховым козырьком, непроизвольно подчеркивая, что обращается к женщине. И, обращаясь, смотрел прямодушно, всем скуластым лицом сразу.

В длиннополом грубошерстном черном пальто с чьего-то плеча, с этой странной шапкой в руках, в темном ежике волос, едва отрастающих после тифа, — кто он? Прошло несколько дней освобождения. Уже не военнопленный-врач, не руководитель подпольной группы, <146> не цивильный. Человек без статуса в унифицированном мире войны. Ни документов, утонувших в реке, ни шинели, ни оружия.

Он сел к столу, шапку — в сторону от себя, на свободный стул. Взялся было за ручку, обмакнул в невыливайку, но тут же отложил ручку. Тер пальцы — отогревал, а может, тянул время, колебался. Большими ладонями провел по лицу, словно стер угрюмость. Взглянул светло и с решительностью принялся писать.

Из чего ткется, какой невидимой нитью возникающая загадочно связь, когда внезапно проникаешься человеческой близостью, чутким откликом — в глухомани многолюдья, где вроде все свои и никого близкого.

Земсков сосредоточенно писал. Локоть левой руки упирался в стол, ладонь распластана по ежику волос.

Мне нужно было отнести переведенные документы.

Я нехотя поднялась. Заметив, Георгий Иванович встал, большой, в громоздком пальто, что-то потянулся сказать, может, показалось. Я смутилась, встретившись с его застенчивым взглядом. Он был открыто огорчен, что ухожу.

И ответно во мне — колотьба сердца. А притом говорю, да так просто:

— Я туда и назад, Георгий Иванович! Вернусь — будем чай пить. И сухари у меня есть.

Кубанку на голову. Размахиваю полушубком, с трудом попадая в рукава, и выхожу, не зная, что не вернусь больше.

* * *

Снег шлепал большими мокрыми хлопьями. Может, в последний раз такой. Было безветренно, а воздух, резкий — по-особому проникающий, знобящий предвестьем весны. На душе грустновато, ласково, странно, взволнованно — все сразу.

"Мины! Идите только по тропе".

Я спешила. Тишина. Оцепенение. Слышно — прогревают мотор машины. Тропа привела меня куда надо. Где дымок, побиваемый снежными хлопьями, рассеивался и был спуск в подвал. Дверь — прямо в гулкое, большое, чадное пространство. По низкому потолку ползают розовые дымки в отсветах огня — горят фитили, воткнутые в снарядные гильзы. На полу солома, затолкнутая к стене, слежалая. <147>

На железной койке расстелена карта, над ней, тыча пальцами, куря, сплевывая на пол, совещаются командиры. Пригнувшиеся к карте спины перетянуты крест-накрест портупеями.

Я не вернулась в дом бургомистра не по своей воле. Был приказ — немедленно сняться. Снова вбирала война — не сидеть же в отбитом городе. Кончились неспешные дни в Ржеве. Впереди нас ждали бои, весенняя хлябь, бездорожье, непролазные болота, напитавшиеся снегом, большая вода, бомбы, рушащиеся переправы…

Полуторка осторожно поползла по указанному стрелками, но заметенному пути. Снег перестал. Он присыпал измученный, весь в корчах развалин город. Было безлюдно. Тишина. Возле сада Грацинского цела виселица — два столба соединены поверху прибитой оглоблей, качаются петли. На старинной приземистой часовенке плакат — "Мы возродим тебя, Ржев!".

Мы покидали город. Было 12 марта — девятый день его освобождения.

В доме бургомистра Земсков что-то писал. Пройдут годы и годы, прежде чем мы с ним встретимся, а тот исписанный им листок можно будет вызволить из архива.

Выехали на Торопецкий тракт, и машина набрала скорость, нас встряхивало в кузове, хлестал в лицо ветер…

Мы ехали навстречу неведомому, ощущая гул войны, ее тягу и гон; было беспечно, весело, жутко и привычно.

Глава третья

1

Когда после войны я стала писать, Ржев снова приблизился, и пережитое на пути к нему было единственное, о чем я и могла-то писать. Ничто, ни штурм Берлина — апофеоз войны, ни причастность в дни падения третьей империи к значительным историческим событиям, не заслонило, не увело.

Что ж такое Ржев, эта неизжитая боль? Он являлся из тоски по пережитому в ином, чем обычная жизнь, измерении — в гуще общей беды, падений, непостижимых взлетов. <148>

Почему так тянет в это ненастье войны? Во мрак? Но в том мраке призывны, негасимы мерцающие огоньки света. Назад к ним бережно пробиваешься сквозь толщу повседневности.

* * *

Через семнадцать мирных, послевоенных лет я поехала в Ржев тем маршрутом, каким в феврале сорок второго с предписанием добиралась на фронт, замерзая в кузове полуторки. То был кружной путь через Калинин, незадолго перед тем освобожденный, — на прямых к Ржеву дорогах тогда залегал фронт.

На этот раз, приехав в Калинин, я отправилась в краеведческий музей. Здесь была временная экспозиция "Отечественная война 1812 года" — в тот год нас отделяло от нее сто пятьдесят лет. По соседству кривичи и другие племена представлены в вещественной памяти своего пребывания на земле. О второй Отечественной войне ничего не было. Только стенд "Герои Советского Союза — наши земляки". Список имен и фотопортреты. Напротив точно такой же стенд — "Наши маяки". Это те, кто в ту пору были передовиками труда.

— Мы увязываем, — пояснила сотрудница музея, — что путь к мирному труду лежал через войну. Вот ее герои. А условия для проявления героизма есть повсюду, и вот они — маяки. Это экспозиция совхоза "Семилетка".

Я почувствовала, как чугунная плита наваливается, погребая память о том, что составляет историю и душу народной жизни. А когда к какому-то "летию" будут делать экспозицию "Великая Отечественная война 1941–1945 гг.", память о ней угаснет, материальные предметы занесет землей и будет все так же тускло, официально и безбытно, как представленная сейчас здесь

экспозиция к стопятидесятилетней годовщине.

Где же наши простреленные, слинявшие под дождями, вытрепанные на ветрах знамена, закопченные котелки, плащ-палатки, солдатские обмотки длиной в версту, где наша винтовка образца 1891-го, где здешние карты-километровки, морзянки, сухари, которые размачивали в луже, где бирки смертные, нательные?..

В смутной дали времен будет ли какой археолог так же трудолюбив и удачлив, как тот, кто раскопал орудия труда, утварь, украшения кривичей, оставивших в земле <149> здесь след десятивековой давности, и извлечет ли он из земли наши изделия из нестойкого материала военного времени — экспонаты материальной культуры второй мировой войны, самой чудовищной из всех, что были, и все же не безбытной?

Но в большом музее в столице области, чьим именем был назван целый фронт — Калининский, — ни единый экспонат не напоминал о войне. А в маленьком любительском музее в заштатном городке этой области есть пара огромных соломенных бот. Только одна деталь из быта противника, а как много она рассказывает. И то, как самонадеянно полагали немцы в четыре недели управиться с войной и не позаботились о теплом обмундировании. И то, как все пошло по-иному и в придачу грянула ранняя свирепая русская зима. И то, как в эти спешно сплетенные из соломы боты враг вставлял свой вражеский сапог и шел в боевое охранение или на пост, злобясь, пугаясь, несчастно замерзая.

* * *

Я оцепенело стою у стенда героев. Под портретами чаще две даты — рождения и гибели. Милое лицо парнишки — младший сержант-разведчик Иванов Николай Иванович, 1923–1943. Смотрю на черту между датами, на эту цезуру между началом и концом, на краткий выдох.

2

С тех пор как в преддверии двадцатилетия Победы пробудилась стихия народной памяти о пережитом, она нашла отклик, обозначения: и трогающие душу и формальные знаки. Но тут уж как удается и что привносится порой со стороны в то сложное и простое, чем была война. В Калинине музей преобразился, собрано и сделано многое, чтобы поведать посетителям о минувшей войне.

У меня тоже есть свой небольшой музей, или точнее — архив.

Мои записи в дни войны, на ходу и более поздние наброски по памяти, записанные рассказы жителей о пережитом, письма, дневники, документы.

Назвавшись именем этого города и кое-что опубликовав, я стала получать от неизвестных мне корреспондентов письма о далеких ли днях детства во Ржеве или <150> об участии в боях за него. Или о том, что было, когда Ржев находился под оккупацией, — об этом рассказал Ф. С. Мазин более чем в сорока письмах.

Городской музей, и редакция газеты, и радио, и "штаб туристов" пересылали мне стекавшиеся к ним материалы с заботой, чтобы голоса, события, судьба города в войну не остались забыты.

С годами мне чаще приходит в голову, что я, видимо, должна позаботиться о судьбе всего собравшегося у меня, — может, посчастливится сдать на хранение с навязчивой мыслью: когда-нибудь этим плодотворнее меня воспользуется будущий исследователь. Но натолкнется ли он на мой архив раньше, чем тот станет добычей мышей, плесени, тлена? Выхолит, я могу поручить его пока лишь одному человеку. Как это, быть может, ни покажется нескромным, этот человек — я сама. И я продолжаю свое повествование, его главный герой — месиво войны, в котором побывала и я, ныне, выходит, архивариус своего архива.

3

Мне надо было ехать от Калинина на Старицу, а из Старицы на Ржев, как это было в первую военную зиму. Но в Калинине меня заверили, что отрезок дороги Старица — Ржев до того ухабистый, рытвинный, что, случается, автобус, взяв здорового пассажира, доставляет к месту больного. Нашлись сами пострадавшие, подтвердившие, что все так и есть. По изнеженности мирного времени я поддалась и вечером села в поезд, отправлявшийся из Калинина в Ржев, что искажало мой ретроспективный путь к сражавшемуся под Ржевом фронту. Этот отрезок железной дороги тогда не действовал, перерезанный врагом. Я оказалась одна в купе. В соседнем — дверь раздвинута — двое железнодорожников играли в шахматы, громко объявляя ходы.

Я сидела в темноте. Разумно было бы поспать, не ведая, удастся ли по прибытии где приклонить голову на остаток ночи. Но сна не было и в помине, в душе не унималось — еду во Ржев!

Сполохи света били в купе, когда проезжали, не останавливаясь, какие-то станции. Ночные земли, незнакомые города, люди на освещенных платформах, а на <151> иных остановках — удар в станционный колокол и вслед толчок

трогающегося поезда.

Торжок. Решетка фасонная у станции, огни города. Все удивительно, вся эта езда. И не было мне одиноко в эти ночные часы странствования за войной. Воспоминания, люди, ожившие голоса писем были со мной.

4

"Уважаемая радиовещательная редакция г. Калинина и области. Сообщаю вам следующее. Я гр-н Смирнов Виктор Михайлович, ныне И. В. О. В. II гр. пожизненно. Проживаю в д. Вильно Рязанцевского с/сов. Переяславль-Залесского р-на Ярославской области. Ежедневно слушаю ваше радиовещание из гор. Твери, ныне Калинина. Но у нас на Ярославщине большинство называют Тверь. Недавно я вам писал письмо, на которое вы в концерте по заявкам пели для меня песню. На Безымённой высоте. Я очень был доволен этим и товарищи по деревне, которые были в тот вечер у меня в посиделках. Вот и сегодня я слушал вашу передачу. Но то что мине трогает ваша г. Тверь-Калинин. Сообщаю если бы я в ним не был в вашем г. Твери. Не лежал бы в госпитале, а так же не был бы на защите вашей области. То я бы и писать не стал бы. Где не был туда и писать не надобно и не интересует. Но где был в то время, когда там пахло открытой смертью и пороховой гарью. Туда и пишу, что там миня очень трогает. 1. Погорелово-Городище которое было сравнено с землей. Восстановлено ли оно!.. 2. город… в то время до первого штурма его, Красавец-Ликующий Ржев! До первого штурма г. Ржева он был очень красив и хорош и как будто-бы просил нас в то время, взять его таким, каким он нам казался. Но при первом штурме взять мы его не смогли, т-к для нас был не подступим. И немец его сильно закрепил. А при втором его штурме. Красавец-Ликующий г. Ржев превратился в кучу щебня и камней. Так-же при втором его штурме над Ржевом встала темная ночь ожесточенного боя. И после Ржев был взят нами, но не город уже какой он нам казался. А так-же сравненный с землей как и Погорело-Городище, пос. Зубцово, вниз по Волге от Ржева, а так-же пос. Кировск. Этих мы брали с одного раза и легче. Но вот как с. Семеновское, тогда Кировского р-на было вашей Тверской области. Оно переходило <152> 5-ть раз из рук в руки, в виду хорошего паникерского командования. И сколько было набито нашего брата в этом селе, целую неделю только сщитать надо было. А сколько брали деревень, поселков. Которые брали целиком, а большинство сожженные немцем. Т-к немец очень боялся ночами и жог гуртом дома. Т-к русские ходили ночью в наступления, а Немец днем. Еще вот помню в 7-и км от г. Ржева д. Осиповка очень большая деревня, которая переходила 2 раза из

рук в руки и была тоже начисто сожгёна — Катюшей. Т-к из дер, его было очень трудно выбивать и пустили Катюшку. Она им и дала понять, как держаться за д. Осиповку. А больше всего миня задевает и интересует г. Тверь-Калинин и Ликующий-Красавец г. Ржев. Мне не верится, что Ржев встал и обратно стал жить. Что осталось от тогдашнего Ржева, то мне не верится, что его восстановили. Т-к подступы к нему были очень тяжелые для наших войск, со стороны д. Осиповка. А главное препятствие р. Волга и Ржев на горе на обоих сторонах реки.

Прошу прочитать и дослать это письмо во Ржев требующим — Туристам. Которые собирают сведения о своем городе. Но что творилось на вокзале г. Ржева в то время, когда его взяли при втором штурме, то и описать не могу. Но проще разбитый ящик в мелкие дребезги. А так-же не забуду, как мы на одной на улице Ржева нашли мешок с деньгами.

При концерте по заявкам прошу исполнить для миня какую-нибудь старинную песню. УТЕС!

Досвидание. Жду Ответ

(В. Смирнов)".

"Ликующий-Красавец". С хмельной, щедрой приподнятостью назван тот желанный, еще невредимый войной город, который вырывали друг у друга. Назван так с несовместимостью впечатлений: каким виделся издали город еще в спелых садах, манивший уютом человеческого жилья, теплом жизни, с тем мертвым, разрушенным освобожденным городом, засыпанным черным от пороха и гари снегом.

К этому письму, написанному на вырванных из тетради листках в линейку, приложен клочок бумажки: "Присылай-те денег на дорогу туда и обратно. Вот тогда-бы я вам порассказал-бы что здесь делалось в то время". <153>

5

Поезд прибыл в два часа ночи. Во мне колотилось — приехала в Ржев…

Последний автобус. Я среди лиц и одежды двадцатилетней давности. Плюшевые жакеты, платки, треухи, хотя и не зима еще.

Набившиеся пассажиры утряслись кое-как под толчки и подпрыгивания автобуса. В теснотище за спиной у себя слышу — стиснутые в проходе бабки переговариваются домашними голосами:

— Летнее яблоко и вовсе не соблюлся.

— Все побито.

— Летось картошка жидкая была.

В гостинице, куда не я одна, вон сколько нас понаехало, кто-то успел получить место, а теперь — всё. Мест нет.

— Куда теперь?

— Как хошь понимай, куда идти ночевать.

— Ну и что, что стоишь, беда какая! А хоть и присядь, да на мягенькое.

— Эва куда я попала, — вздохнула, садясь, бабка.

Дежурная, выйдя из своей кабинки с окошечком, примирительно объявила:

— Чайник, надо думать, поспел уже.

И после того в вестибюле как-то само собой стало упорядочиваться. Хоть и ночь, из сумок повынимали кое-что съестное, кружки. Бодрый дяденька, что приглашал чужую ему бабку присесть, щелкнул по оттопыренному карману ватного пиджака.

— Ездишь по городам, пихают куда-никуда. И потом как дурак. Выпить не с кем.

Он взял стакан, что стоял на столике при графине с водой, и, достав из кармана уже порядком початую бутылку, плеснул в него и вернулся, протянул бабке. Бабка с неловкости стала ворчливо отговариваться, что приехала, мол, по делам, много чего надо в магазинах купить.

— Что задумала, все купишь, — бездумно сказал он. И, немного еще подержав протянутый к ней стакан, добавил: — Я силком не спаиваю. — И опрокинул сам.

Подлил еще. И когда опять попробовал протянуть ей, она мотнула головой и взялась за стакан.

Дежурная принесла пышущий жаром чайник с запущенной <154> в него заваркой и, все еще держа его в руке, оглядела меня и строго, по-хозяйски спросила, поскольку из-за отсутствия мест еще не давала нам заполнять бланки и не про всех нас ей на глаз все было ясно:

— Женщина! Кто вы такие будете? Откуда прибыли? Командированная или на каком поприще трудиться у нас думаете?

Я, подойдя к ней, подождала, пока она опустит чайник на тарелку, на которой перед тем стоял графин с водой, и объяснила ей, что второй раз попадаю в Ржев. А что первый раз я была здесь 3 марта 1943 года.

Поскольку во Ржеве не найти человека, которого упоминание этой даты — дня освобождения города от немцев — могло бы оставить равнодушным, я была тут же обеспечена ее фаянсовой кружкой и карамельками в придачу и обществом самой дежурной. Она села со мной рядом в вестибюле, и тут же я узнала, что звать ее Анастасия Ивановна, что она была на фронте писарем, потом связисткой. По ранению в госпитале восемь

месяцев провела.

Бабка, которой поднесли водки, насупившись, молча моргала. Ее собутыльник, понадеявшийся, видно, сыскать в ней собеседницу, укорил:

— Ну что, язык не ворочается?

Она, отвернувшись в нашу сторону, все такая же насупленная, громко оповестила, обращаясь к дежурной:

— Я — веселая. Выпила для праздника.

Но дежурной не до нее было. Ее захлестывало свое.

— Разум мой, можно сказать, за войну остановился на точке замерзания. Не развивалась, хоть мне и было уже двадцать три… — поделилась она тем, о чем сама с твердостью уже давно про себя решила.

Мне таких наблюдений не доводилось слышать. Обычно о жизни на войне, о себе на фронте вспоминают по-другому, и я приникла со вниманием.

Под утро нашлась для меня койка в общем номере. А позже, днем, и отдельная комната. Но еще до того как перейти в нее, я, подремав на койке, поднялась и отправилась в город.

Дежурная Анастасия Ивановна еще не сменилась. Она высунула из окошечка замотанную платком голову. И когда я подошла, она без "здравствуйте", будто и не прекращался начатый ею ночной разговор:

— Я, знаете, вот что. — Бессонные часы добавили ей <155> возбужденности, хотя голос опал и она его натуживала. — Я, когда демобилизовалась, — хочу во Ржев, и всё тут, а что найду — думала ли? Деревня наша на большаке. Война на нее навалилась. Подъезжаю: деревня — как общипанная курица. А хлеб — вспоминать тяжело — какой-то зелено-черный, из него какие-то листья торчат. Да и не хлеб это. Из чего пекли, бог знает. И ничего-ничего нет. Одна кошка полудохлая.

— Пожалели, что поехали?

Она помотала устало головой в толстом платке.

— Нет же. Брошен камень обрастет мхом. Кое-как стали жить.

Вот и я поняла, что приехала, куда метила. Что обрасту здесь воспоминаниями. Ехала в глубь времени, за войной, и война сама тут меня за подол хватает.

Я вышла из гостиницы.

6

Мазин писал:

"Когда сразу же после войны я пошел учиться в Ржеве в вечернюю школу, то интересный вид был у этой школы. Помещалась она в уцелевшем кусочке большой каменной двухэтажной средней школы. И вот этот кусочек — среди

каменных развалин вокруг, а напротив окон через дорогу хвостом кверху, наполовину обломавшись, врезавшись в землю, был "Ил-2". Выйдешь на перемене — кругом насколько хватает глаз одни развалины и груды кирпичей".

Таким и мне запомнился Ржев, другим его не знала.

За порогом гостиницы был незнакомый город.

Вблизи дома попроще: то совсем приземистые, то в два этажа — отстроены заново или восстановлены. Это, можно сказать, еще старый Ржев.

Дальше за рекой, где самый центр, единственный уцелевший дом — это банк, он выстроен еще в конце прошлого века. Вокруг солидные современные здания учреждений и жилые новостройки. "Большой у нас теперь город, весь новый", — охотно говорят.

Неизменна только Волга. Где-то вверху, сбиваясь капля по капле в непрыткий ручеек, что напитывается, держа путь через озера, и становится рекой, принимающей притоки, она окрепшая течет посреди Ржева — первого в ее верховье города. <156>

Я ее тогда видела закованной льдом. Теперь она текла по-осеннему несуетно, плавно, неостановимо. С высокого берега глядя на Волгу, я чувствовала, как в душе угомонилось, и было так покойно, живительно смотреть на реку и отстраненно, будто никогда по ней не плыли снесенные в Волгу ее притоком Сишкой со страшного, кровавого побоища у Ножкина трупы воевавших солдат.

* * *

Поднимаясь от реки, женщины на коромыслах несли ведра с волжской водой и скрывались в лабиринтах белых пятиэтажных новостроек.

Старожилы ни водопроводную, ни из колонок воду не берут на чай, пьют только волжскую. И ветхие старухи, те хоть с трудом, но доберутся к Волге и тащатся с водой назад к себе. "Чайпить", — говорят здесь слитно, как одно слово. "Водохлебы" — издавна прозывали ржевитян. Чаепитие было особым ритуалом в Ржеве, и до войны пили непременно из круто кипящего самовара.

Мне помнится свояченица бургомистра, ее серое, пожухлое лицо с покладистым выражением, не из жадности утаскивала тогда большой нарядный самовар — из неукротимого усердия быта.

Здесь на берегу, над крутизной, под смыкающимися кронами старых берез и тополей был городской сад. Вечерами зажигались

разноцветные фонарики. В беседке над обрывом духовой оркестр играл популярные вальсы. Теперь здесь, на месте вековых деревьев, молодые посадки — еще совсем слабые деревца. От новых скамеечек торчат только столбики, сиденья сорваны. "Это не свои безобразничают, — считают горожане, — пришлые. Свои город любят".

На другом берегу, в самом центре города, в саду Грацинского на танцплощадке когда-то познакомились родители Мазина. Там он сам шестнадцатилетний, еще хромающий после ранения, потерявший за время оккупации мать, бабушку, тетку, упоенно танцевал под духовой оркестр железнодорожников в первую весну освобождения города, в 1943 году.

"Танцевали те, у кого война не отобрала жизнь", — написал он мне. <157>

Глава четвертая

1

Хожу. По сторонам почти не озираюсь, хочу вникнуть в войну — досмотреть, дослышать, узнать то, чего тогда здесь не смогла, не успела. Записываю.

Андриевская А. С.:

— Вперлись когда, сперва ели, пировали, выхоленные, на губных гармошках играют, веселятся: открыли ворота на Москву!

А тут уже — комендатура, сделали перепись населения. От восемнадцати и выше являться на отметку. Пошли расстрелы, виселицы. Страшно выходить на реку по воду. Запасы пищи исчезали. На бойню ходили за костями и отходами, чем раньше свиней кормили. Ходили в деревня менять. А немцы отбирали вещи, вывозили себе на родину, раскапывали ямы, где жители хоть что свое спрятали.

Летом-весной кушали лебеду, крапиву, выкапывали клубни замерзшей картошки, оставшиеся с осени сорок первого. Людей в городе становилось все меньше, умирали от голода и тифа. И вот началось бедствие — стали людей угонять на запад. Пошли эшелоны. Нас под конвоем привели на станцию Ржев, выдали по буханке хлеба с опилками на семью, посадили в товарные вагоны, закрыли и повезли неизвестно куда. В вагонах было темно, крик, стон, плач…

Анна Григорьевна Кузьмина:

— Я перед тем стала полы мыть, самовар начищать — готовиться к приходу русских. Неужели мы доживем? Муж: "Это ты не к добру начищаешь".

Ввалились трое немцев или четверо. Как схватил стул — и об стол, о стекло. Вон! Муж ни в какую. Уж совсем наставил на него левольвер. Я кричу: "Отец!" — он много постарше меня. "Хуже одевайся! Хуже одевайся! "— он оберегал дочку, чтобы незаметнее была она. И она худое пальтишко надела. И сам кое-как. Я ему потом в храме один платок отдала. Только успели с печки семена взять — мешок. На семена мы жить начинали потом. И с детьми вышли. А они уже порохом дом обкладывают. Сожгли. Два дня не достоял, не выжил. <158>

Люди бланк вывесят на доме "Tifus", так спокойнее, не заходят немцы. И у соседей бланк. Она уксусом лицо намазала — больная. "В тифу", — говорит. Немец: "Застрелю!" Притаскивает корыто. "Тащи ее!" — мужу приказывает. Он тащит. Нас вместе погнали. Она бы хотела встать, муж истощен. Но немец до самого храма провожает.

Храм весь набили народом. Холодно. Стекла все в церкви побивши. Я мужу один платок отдала. "Бабушка с бородой", — ребятишки смеются в храме. А тут слышим — заколачивают снаружи двери.

Фаина Крочак:

— "Дайте воды! Дайте воды!" Часовой в окно швырнет комок снега. Пососать всем хочется.

Жандармы два раза приходили, искали какую-то женщину. Сказали: "Завтра — конец". Мы и ждали все, что конец. Кучами тащат они свое имущество — сжигают. Взрывы страшные. Пожарную каланчу взорвали, по крыше церкви сыплется. Прощаются. Стоны.

Лена:

— Я была в забытьи. Меня на возвышении посадили. "Мама, меня не буди, когда будут взрывать".

Анна Григорьевна Кузьмина:

— Все взрывалось, взрывалось. В храме стонут. Кричат. Кто обнимается. Прощаются с жизнью. "С жизнью расстаемся! С жизнью расстаемся!"

Тихо, тихо стало. Часа три — тихо. Смотрят в окно. Идут в белых халатах. И красные звездочки.

Это было воскресение. Обнимались, целовались. Слезы и плач. Очень торжественно. Воскресли из мертвых. Это — Воскресение.

Таисия Струнина:

— Вот русские идут! Да какие же это русские! Плакаты немецкие по всей улице Коммуны: семеро идут, у седьмого только винтовка — русская армия. А вот немецкая — до зубов все. И за семнадцать месяцев нам внушили. А тут идут — у каждого автомат. <159>

И еще одна бабушка, чье имя не знаю:

— Русские! Живьем. Идуть… Все шинеля заколоневши. Сапоги все во льду. Очень все во льду, прямо жуть одна…

2

По преданию, в ожесточенных боях с осадившими Ржев войсками пана Лисовского в 1613 году, рвавшегося захватить кремль на высоком берегу Волги, жители стояли насмерть. И пересохший впоследствии ручеек, а тогда живо стремившийся к Волге по площади, где в наши дни базар, "потек кровью". Жители, спасенные от иноземных захватчиков, возвели на том ручье часовню. Так закрепилась память о тех днях и жертвах. И спустя полтораста лет, когда город обстраивался по плану, главную улицу нарекли Большой Спасской, помня про то спасение от врага. Это и есть нынешняя улица Коммуны, на которой, кстати

сказать, стоит гостиница.

По этой улице продвигались 3 марта 1943 года солдаты капитана Метелева, они первыми ворвались в город и преследовали отступавшего врага.

На их пути была та церковь, куда немцы перед отступлением согнали всех жителей, кого не сумели, не успели угнать, кто еще был во Ржеве жив, — чтобы уничтожить их. Заколотили дверь. Заминировали подступы. Подготовились взорвать.

Спасение приближалось по улице Коммуны, по бывшей Спасской. Церковь стоит как раз на улице Калинина, где в доме 128 расположился штаб нашего полка, о чем дано было знать в дивизию первым донесением. А вторым: "Население согнано в церковь. Церковь заколочена, вокруг заминировано. Разминируем".

Надо бы эти лаконичные солдатские слова высечь на камне церковной стены. Здесь — последние часы ржевской трагедии. Апокалипсической.

Последние люди Ржева должны были погибнуть в церкви насильственной, мученической смертью за то, что не оставили свой город. Спасение явилось в белом халате, красной звездочке, в "заколоневшей" шинели… <160>

3

Улица Гагарина, 68. Небольшой деревянный дом. Анна Григорьевна Кузьмина, ее муж Федор Матвеевич, ныне староверческий церковный староста. Во время службы в церкви стоит за свечным ящиком.

Большой торжественный иконостас в красном углу.

Старик Федор Матвеевич ослабел, лежит в зале на постели поверх одеяла в одежде и в валенках, высунутых между железными прутьями кровати.

Это глядя на него в храме, ребятишки смеялись: "Бабушка с бородой". Борода большая, клочкастая. Уж какая ни есть. Грех прикоснуться к ней ножницами.

Анна Григорьевна заметно моложе, лицо худенькое, смуглое, подвижное. На ней аккуратная вязаная кофточка, легкий платок в разводах на голове. Она только с работы, из яслей. Доверчиво ведет меня на кухню, соединенную с залой проемом. Наливает по тарелкам горячих щей, ставит на стол, накрытый клеенкой.

Я слегка приторможена, ведь попала к истым староверам, как же поганить их посуду. Они исстари отличали себя от прочих и замкнуты были и верой и предрассудками. А теперь вот подупало. Нет той строгости. Две одинаковые глубокие тарелки с зеленой окаемочкой перед нами. Хоть к этой присядь, хоть к той — нет в доме для иноверца отдельной посуды, как бывало.

— Я очень верующая, — сказала Анна Григорьевна. — Конечно, говорят, что бога нет. Но бог мне очень помогал. Я пришла менять к знакомой в деревню. "Партизанка!" — немец на меня. "Милушка, что теперь будет тебе и что мне будет?" — обмерла знакомая. Передвигаться запрещено. За самовольное передвижение драли, расстреливали как партизан. "Ты же меня знаешь, — говорю, — и я тебя знаю". Я пошла к коменданту, все рассказала. Напустился: "Вы должны были взять пропуск": — "Разве дадут пропуск? Не дадут. Так и так с голоду умирать". Отпустил на первый раз. Бог мне помог.

В войну детей сберегла, но старшего, Асика, Александра, шестнадцати лет, угнали немцы. И вот после войны горе одно за другим.

— Отец! — окликнула она. — Асик утонул в сорок шестом году? Это он тогда только вернулся, на проверке был. А еще сынок — Герик, Георгий, в войну он двухгодовалый <161> скелетик. Говорили: "Все равно похоронишь. У него уже все в мохе". Выходила. А после войны, одиннадцать лет ему уже было, с соседским мальчишкой снаряд нашли — подорвался. Отец ему: "Сначала садись по-русски читай, потом будешь по-славянски". — "Ну, дед, молись и молись. Каждый день. Когда ж и погулять ему?" И вот как я была за это наказана. Он когда стал одеваться, у меня такая скорбь на душе. "Не ходи, Герик!" Все пальчики ему перецеловала. Ему осколком порвало сонную артерию. Это Толик, соседский, разорвал снаряд.

Помолчала. Сказала тихо, доверчиво:

— Грехи наши горят и сгорают страданиями. Терпение надо. Муж говорит: коснеть в скорби по отошедшим — язычество и безбожие. Надо, говорит, верить в промысел божий… А душа от боли замирает, сколько переживаний, прямо ужас! Из какого только железа сделаны.

4

Ржев природно поделен надвое Волгой. И эту поделенность в прежние времена закрепляла веронетерпимость. На левобережной Князь-Федоровской, ныне Советской, стороне преобладали никонианцы, на правой, Князь-Димитровской, почти сплошь были старообрядцы. На правой же стороне, названной после революции Красноармейской, стоит та церковь, в которую немцы напоследок загнали всех жителей, кого обнаружили в городе. Спасены были люди, и церковь уцелела, что где было порушено, восстановили. Эта Покровская церковь, — справедливо было бы именовать ее "спасенных мучеников" — старообрядческая, единственная действующая во всем прежде многоглавом Ржеве. И никонианцы за неимением своей поневоле молятся в этой церкви, совершают

требы под их, старообрядцев, тягучее, монотонное пение, выстаивают и всенощные, и обедни, хоть и без того благочестия, как бывало в своей — православной.

Какие силы, какие характеры веками вовлечены были в непримиримую вражду расколовшейся церкви. И ведь как неравны были условия борьбы для гонимой и мирскими и официальными церковными властями старообрядческой массы. И во все времена самые грозные <162> наказания за совращение в раскол. Надо ж было войнам и революциям все так перетряхнуть, смешать, утеснить, чтобы никонианцам не на свою почву перетянуть тех, а переступить, уступить, оказаться хоть по внешней видимости и вынужденно, а все же перетянутыми к ним, старообрядцам.

Глянули б на такое положение прежние отцы — ревнители ржевской православной церкви. Стерпят ли они в своих темных могилах? Не перевернется ли известный в свое время здешний соборный протоиерей Матвей Константиновский, лютый преследователь старообрядцев, добившийся от правительства закрытия главной старообрядческой молельни в Москве на Рогожском кладбище?

О нем незатухающая злая память в поколениях старообрядцев, да и у всех, кого оторопь берет при мысли о сожженном втором томе "Мертвых душ". В ржевском музее довелось мне услышать о словах Гоголя:

"В воскресенье был у обедни, слушал проповедь отца Матвея о свете и тьме… Пойду к отцу Матвею, что-то будет… Говорил он об усилиях дьявола против него и о раскольниках".

"Что-то будет"…

А было вот что: "Я воспротивился публикованию этих тетрадей, даже просил уничтожить" — осталось свидетельство сказанного Матвеем Константиновским.

Что ни копни, чего ни коснись, все как-то переплетается в старом городе с его наслоениями, связями, корнями, и без этой переплетенности, а то и сплавленности не понять, не доискаться, что и как тут было в последнюю войну.

С Покровской церковью связано еще одно событие.

Летом 1942 года во время большого нашего наступления на Ржев до нас, на ту, на нашу сторону фронта, дошло, что в городе расстрелян немцами священник. Помню, говорили, что он молился: "Спаси, господи, воинов Красной Армии". Патриотизм теснимых до войны священников был тогда новью в военном лихолетье.

Оказывается, действительно был тот священник патриотом и призывал молиться за наших воинов. А схвачен был немцами вот

при каких обстоятельствах. На его беду, Покровская церковь, где был его приход, построена в начале нашего века, когда старообрядцам уже дозволялось возводить колокольню. Наши самолеты <163> налетели, и на ту колокольню влез священник, услышав, что бомбят Казанскую церковь, чтоб самому посмотреть на разор и пожар. Немцы схватили его, посчитав, что священник с колокольни подает сигналы Красной Армии, и тут же расстреляли как партизана. В церковной ограде, обнесенная деревянной решеткой, его могила — горит не угасая лампада.

5

На улице Коммуны православные старухи, отстояв обедню, ждут своего тракториста, он привез их из ближней деревни в город в Покровскую церковь и должен доставить обратно, но куда-то укатил.

— Вот мы яво ждем.

Они в плюшевых жакетах или в пальто, а поверх еще завернуты в шали, как называют здесь тяжелые теплые большие платки, на ногах чесанки с галошами, вроде бы рановато, но в открытом прицепе холодно и в нетопленом храме настоишься, ноги застудишь.

Старухи опираются на палки, сумрачны — все еще в небудничной духовной сосредоточенности. Переговариваются неторопливо, веско:

— Мы приберемся, а уж после нас-то…

— Да уж, молодых осталось всего ничего.

— Земля умрет.

Да, они сознают значимость своей прожитой жизни, эти не щадившие себя на всем пути старые женщины, свою причастность общей судьбе…

Но тракториста все нет, и ругают его "фулиганом".

— Перетаскивали мешки с зерном на себе. А теперь им, молодым (и, значит, "фулигану"-трактористу), два килограмма тяжело, за них машина тащит.

И он, может, кульки сушек сейчас в прицеп складывает или колбасу где выстаивает.

— Ну то ведь праздник, — кто-то примирительно.

В затянувшемся ожидании, в разгорячившихся разговорах что-то сникало, злоба дня протиснулась.

— О, и то теперь хлебушка одного неохота. Заелись. Уж теперь-то грешить нечего об етим.

— Теперь только бы дожить без войны. Только бы без ей.

Бодрая старуха лет восьмидесяти похвалялась своим новым пальто. <164>

— Заработаешь, по доходу и расход делаешь, — лукаво

сообщила мне, вроде она все еще при деле. Отвернула полу, приглашая меня пощупать атласную подкладку, и вдохновенно сказала: — Не знаем, кого уж благодарить, бога или власть, за то, что в кредит теперь стали…

В городе легкая предпраздничная кутерьма, развешивают флаги, плакаты и портреты к 7 ноября. Снуют с сумками женщины по магазинам. Где-то здесь был дом бургомистра, но все так изменилась, что мне не отыскать. Спешно подновляют кое-где фасады общественных зданий. Угловой дом, свежевыкрашенный в оранжевый цвет; по стене, не сдаваясь ни времени, ни покраске, проступает: "Ударим по врагу огнем и трудом!" Это лозунг из тех наших дней на уцелевшем Чертовом доме — ЧД, как здесь принято называть сокращенно.

Говорят, выстроивший его купец обманул нанятых рабочих, не заплатил, как было положено, и они по-своему рассчитались с ним — запрятали на чердаке пустые бутылки, и в ветреную погоду оттуда неслись стоны, пугавшие прохожих. Люди избегали приближаться к этому Чертову дому. После революции дом перестраивали для нужд общественной столовой, очистили чердак от обнаруженных бутылок. Стоны прекратились, а название прилипчиво. В войну здесь, в Чертовом доме, была немецкая комендатура. Теперь снова столовая. "Все путные дома посбивало, а этот, чертов, хоть ты что, даже угла нигде не отбило", — ругаются женщины, выволакивая из столовой пьяных мужей.

В ресторане, единственном в городе, постелили розовые праздничные скатерти. За длинным столом посредине зала гуляют женщины и с ними одна старуха, — кажется, это бригада с льночесальной фабрики. На столе батарея пивных бутылок. Старуха канючит: "Мне бы сто грамм". Но отмахиваются и не удовлетворяют.

Сбоку от меня за столиком двое мужчин степенно переговариваются:

— Сын женат. Жена не особо общественная. Наряды на уме.

— Они теперь по-другому живут. Мы с совестью жили. Они этого не понимают.

— Мне, бывало, удивлялись. Позднее четырех не <165> вставал. Безо всякого всего, сколько надо, столько делал. Домой придешь, свалишься.

Зал наполняется, нарастает гул, взрываются громкие возгласы.

— Красненького возьмем для жен!

— Они беленького хлобыстают.

Подошли двое, ищут место. И ко мне:

— Можно с вами сесть, в содружестве наций?

Неглупое лицо, проседь, жесткие виски, щупловат.

С ним моложавый, с незлым лицом, лысый, а на лысом темени красный узел рубцов — от ранения. Жалуется, что ему холодно.

— Мерзнет тот, у кого мало движения в крови. Скорость ее не обеспечивается, так ведь? — призывает меня первый.

Сходил к буфетной стойке за водкой, пивом и конфеты на тарелочке принес, на них лысый отреагировал с раздражением: "Возьмешь своим ребятам". Тот: "И ты". — "Мои перебьются". Какой-то напряг денежный.

— Рассчитались? — первый спрашивает. И заказывает горячие блюда малюсенькой официантке Рите с паклей высветленных добела волос — как в театральном парике она.

И еще раньше чем официантка вынырнула из-за кадки с огромным фикусом, неся тарелки с жареной печенкой, и раньше чем громкоговоритель на стене возле "Девятого вала" Айвазовского окончил передачу из Москвы со стадиона, где милиция в этот час была приведена к торжественной присяге, — впрочем, особо не прислушивались, — в нарастающем, разрозненном, громком говоре зала, в ярых выкриках установилось что-то общее. Война. Этот пласт жизни здесь еще так близок. Бессвязные воспоминания, толки о ней, все о ней, или нет — о себе на ней.

— На фронте я все прошел, от корочки до корочки, — сказал лысый, раненный в темя, подливая мне водки в рюмку. И замкнулся.

— Гляди, наёршился. — Его напарник чокнулся о мою рюмку, выпил и, откинувшись раздольно на спинку стула, с веселой осатанелостью заговорил о своем немце: — Я ему вызвездил, дал понять!

— Чего говорите? — чей-то выкрик ему.

— Ничаво! Мы промеж себя. <166>

Здесь друг друга знают: это работники баз, торговых точек, шоферы. Официантка Рита время от времени возмущенно, и все напрасно, призывает к тишине; наотрез крутнув головой в пакле волос, отказывается брать заказ у человека, не снявшего в гардеробе пальто. А он распахивается, давая понять ей — из бани, в чистой нательной рубашке под пальто.

Здоровый дяденька без шеи, крутой затылок примкнут прямо к тяжелой спине, тупой подбородок вздернут, мотая кулачищами в воздухе, громоподобным голосом пересилил всех:

— Против нас кто ни шел, погибнет, это в писании сказано!

В двери возникает милиционер — низкорослый, кургузый.

Обходит свой участок в предпраздничной городской смутности. Застревает в проеме открытой двери, оглядывая зал. Да тут, похоже, скоро что-нибудь назреет. Постоит-постоит и уйдет пока дальше своим маршрутом по участку. Но вернется.

Там, за столиком, заспорили:

— А как, если война опять?

И тот, бесшейный, гоготнул:

— Меня-то не возьмут, меня на племя оставят.

Приверженность к тем схваткам, одолению, огню, смертям и мукам, от которых победа так и не дала отшатнуться, опомниться. Все это сидит внутри покореженно-воинственно-опально и взрывается темными порывами.

Вечером в центре города иллюминация. Тем гуще темнота окраины, как отойдешь немного. В том краю, где глубокий овраг, а за ним на крутизне Казанское кладбище, издалека в кромешной темени неизменно горят светлячками лампадки на староверческих могилах.

Глава пятая

1

С родины Курганова, бывшего полицая в лагере военнопленных, получен ответ на запрос о нем. На официальном бланке райкома партии:

"…По сообщению председателя Крюковского сельского Совета тов. Шумеева, тов. Курганов И. Г. умер лет 13 тому назад в больнице города Хабаровска. <167>

Имеется сын и вторая жена, первая от него отказалась, но где они живут, неизвестно.

Есть адрес его брата — Курганова Якова Григорьевича, возможно, он знает о них более подробно, чем жители села Крюково.

Если разыщете жену и сына Курганова, то прошу сообщить Крюковскому с/совету для сведения.

С уважением

секретарь Глебовского райкома КПСС Я. Жарков".

Из колхоза "Рассвет" от брата Курганова:

"В первый год войны мы получали от брата вести, а потом не стало слышно. И вот конец войне. Люди празднуют День Победы. А брата так и не слышно. Года шли, а мы не получаем никаких известий от него. А потом решили подать в розыск. Начали искать мы Ваню в 1951 году. В 1953 году в марте месяце нам сообщили, что Курганов Иван Григорьевич проживает в Хабаровске. Написали туда письмо, он написал нам ответ. Писал, что лежит в госпитале, но вы, мол, не волнуйтесь, со мной все в порядке, немножко приболел. А через некоторое время высылает деньги и пишет: мама, выезжай ко мне. Наша мать собралась и поехала. А оказывается, он был сильно ранен, через то он не хотел показываться домой. Когда мама приехала к нему в Хабаровск, он был дома. Но мама не могла его узнать, он был ранен в лицо. У него лицо все было пошито, кожу брали с руки и ноги. И еще у него было плохо с головой. Но все равно он до последних дней работал с солдатами. И вот когда мама приехала, ему стало совсем плохо, и его отправили в госпиталь. Неделю полежал он там и умер. Мама, сильно убитая горем, не могла узнать, где и когда он был ранен. После того как Ваня был похоронен, мама вернулась домой. А сейчас и мамы нет в живых.

Да еще забыл вам сообщить, что в документах Вани нашли адрес жены его и сына, но оказывается, что они тоже не знали, где он находится.

Вот и все, что я могу Вам сообщить.

Если Вы просите адреса его жены и сына, точные адреса я написать не смогу. Адрес жены: г. Керки Туркменской ССР, а улицу и номер дома забыл. А за сына я только знаю, что он проживает в г. Саратове. <168>

Вот и все, что я могу Вам сообщить. Я Вас очень прошу, если что узнаете о брате, напишите, пожалуйста, нам, ведь ничего о нем не знаем…"

Окончилась земная доля Курганова. С тех пор как, бежав от немцев, он вернулся во Ржев в штаб нашей армии, он прожил еще десять лет. Как прожил? Что с ним было в эти годы? Где, при каких обстоятельствах он так тяжело изранен? На это ответа нет. Удастся ли прояснить, — или он унес с собой в могилу неразгаданную свою злую судьбу?

Выславший мне эти письма И. Васильев писал:

"Сейчас ищу еще родственников и документы Курганова. Если мои изыскания будут в какой-то мере Вам полезны, пожалуйста, пишите. 16.10.66".

Писатель Иван Афанасьевич Васильев — в те шестидесятые годы собственный корреспондент "Калининской правды" во Ржеве — подвижнически шел по следам минувших здесь, на этой земле, событий и писал о них. Канувшие люди, забытые судьбы, факты, документы — он неутомимо, кропотливо разыскивал. Без его своевременных усилий ценные свидетельства могло бесследно унести быстротечное время.

"И еще извините, если я допустил бестактность — дал Ваш адрес Земскову, врачу, что организовал подпольную ячейку в лагере военнопленных. Он хочет Вам написать, — сообщил И. Васильев. — Кстати, мне удалось прочитать протоколы заседаний их ячейки. Могу прислать, если интересует Вас…"

Я ждала, но от Земскова письма не было. А если б и написал, то как бы и не мне вовсе, а некоему адресату, не мог он знать, что я и есть та переводчица, которой он с тех давних пор так глубоко памятен. До нашей встречи оставалось еще два года.

2

А Мазин продолжал посылать свои письма-воспоминания.

"Так вот, впервые увидел я немцев на Старицком шоссе недалеко от Ржева. Кроме мотоциклистов ехали на велосипедах цельными большими колоннами, ехали не очень быстро и не очень тихо и о чем-то все оживленно переговаривались, были они все красивые, какие-то <169> отборные. Я подумал: что это их таких заставило, что им здесь так важно, может быть, важнее жизни, что их заставило оставить свои семьи, оставить свои точные станки, которые я до войны видел на заводе, когда наше ремесленное училище водили на экскурсию. Оставить свою

Германию, для многих, может быть, навсегда, и двинуться сюда, навстречу холодам и русским дорогам, навстречу многому неизвестному здесь, в этой стране, и навстречу многому неизведанному, что их здесь ждет. Зачем им все это?

И так я шел в Ржев, уже вечерело, нужно было до наступления темноты быть дома., и мы торопились, а колонны все шли и шли…"

"В то время у наших не было дизельных машин, у немцев же все грузовые машины были дизельные, так что ни карбюраторов, ни рукояткой заводить не надо было. В этом было их преимущество, бензин им не был нужен для грузовых автомашин, работали на солярке. Да и танки у них были дизельные".

"Вы пишете, что я хорошо запомнил минувшее о войне, да, я многое запомнил до мельчайших подробностей. Потом ведь все люди разные на запоминание, вот если взять двух людей, хотя бы у нас на работе, и показать им одно и то же явление или вещь и сказать: ну, что вы можете сказать об этом? — то один может почти ничего в этом не увидеть и сказать об этом несколько общих слов, а другой в этом же самом может увидеть столько, что может об этом написать цельную книгу".

"Когда они ехали к Москве, у них у всех были противогазы — такие жестяные цилиндрические банки с гофрированной поверхностью, а когда отступали от Москвы в Ржев, то противогазов у многих уже не было — повыбрасывали".

"Увидя офицера, сразу все вскакивали, вытягивали руки и выкрикивали "хайль Гитлер!". У них получалось — хаитле! На их лицах не чувствовалось никакой другой мысли, будто бы в данный момент для них ничего <170> другого на земле не существует, кроме этого офицера, перед которым они стоят. У нас, например, отдает солдат честь офицеру, но на лице и в глазах чувствуется какая-то другая мысль. Потом каблуками своих ботинок и сапог они очень щелкали, метров за 100 слышно. В Ржеве кое-кто из мужского населения ходил тогда в таких ботинках, их просто было купить, или немцы, уезжая, бросали. Так я увидел, что каблуки наборные из чистой спиртовой кожи, а на основании каблука, на набойку у всех сделана железная подкова вокруг всего каблука, так что на таких каблуках очень удобно на этой железной подкове повертываться".

"Я Вам писал, как немцам доставалось под их рождество 41-го года. Они только что отступили от Москвы, их набилось сюда, в Ржев, по слухам, тысяч сто. Одежда помятая, сами обросшие, в первую очередь снимали рубашки и начинали бить своих насекомых, так как они были тогда завшивленные. Ржев был окружен нашими таким большим кольцом. Ж-д была перерезана

где-то около Вязьмы, им доставляли продовольствие на самолетах "Ю-52". Приземлялись днем на военном аэродроме в Ржеве около Городского леса, так было весь январь и немного больше. Условия у них тогда были тяжелые, но зубы по утрам чистили. Потом у них еще уделялось внимание витаминам, зимой 41–42 г. немцы получали такие фруктовые таблетки палочками… Не знаю, как у Вас тогда было и чему уделялось внимание".

"Я видел один на один такого немца, звали его Фриц, он был с усиками, такой темноволосый, среднего роста. Тогда зимой он обвел рукой вокруг шеи, поднял руку вверх и сказал, что надо тех, кто затеял эту войну, повесить и им уехать отсюда в Германию. Этот старый немец был, наверное, солдатом в первой мировой войне".

"У немцев с передовой женщины спрашивали: "Ну как там, пан?" Немец говорил: "О, матка, ни гут, никарошо, кальт (холодно), русский зольдат цап-царап германский зольдат"…" <171>

"У нас они тоже стояли. По вечерам эти немцы садились за стол, подогревали в лежанке солдатский плоский котелок, ставили его посреди стола и около каждого ставили крышечку, которая завинчивает фляжку, и понемногу наливали в эти крышечки шнапс и пили, а горбоносенькии такой немец Карл играл на гитаре и пел, пели и они все. А гитара эта висела на стене, она была дядина, того, который, я Вам писал, был в авиации и всю войну летал их бомбить. А этот Карл-гитарист настроил его гитару на свой лад, и они часто под нее пели. Выйдешь, бывало, в коридор вечером, кругом зарево, на окраинах трещат пулеметы, рвутся гранаты, идут бои. Ржев окружен, а они сидят за столом и под гитару поют".

"Кого-то ждали. Немецкие солдаты полагали — Гитлера. И слух такой по Ржеву. Со дня на день ждали. Он должен был приехать, поднимать здесь их солдатский дух. Им тут тяжело доставалось от наших. От одной "катюши" им спасения не было. А Ржев они называли — ворота на Москву. И сдать его — это ворота открыть на Берлин. Большую часть населения города пригнали на военный аэродром около Городского леса для расчистки снега. Там был и я, на этом аэродроме. Там стояли "Ю-52" трехмоторные транспортные, полузанесенные снегом, на фонарях кабин сидели летчики и что-то ремонтировали.

А как потом было известно, как будто прилетел Гитлер. Осадное положение в то время было, везде стояли патрули".

"От немцев, приезжавших из отпуска из Германии, у которых Англия разбомбила родных, впервые я от них услышал тогда слово egal — все равно. Теперь, они говорили, им все равно".

"А был случай, не помню, писал я Вам или нет, при мне немец сказал моей бабушке, что, если война еще протянется, он сам себя застрелит, и так приставил автомат к себе дулом. Потом опустил его и стал кутать голову в бабий платок. А бабушка ему: "Куда ж вы в такой мороз? Пойдите к русским сдаваться, они вас не тронут"..." <172>

3

Многие западные корреспонденты стремились после войны съездить в Ржев, увидеть этот город, разгадать его загадку.

Что же такое здесь было в войну? Что за невиданное по протяженности — семнадцать месяцев — неотступное сражение за этот город? Почему верховным командованием обеих воюющих сторон этой точке на необъятной карте войны придавалось такое чрезвычайное значение? Почему именно Ржев был объявлен немцами "неприступной линией фюрера"? Почему именно сюда, в Ржев, нацелился, как распространилось в немецких войсках, прибыть Гитлер? Что должен был символизировать этот приезд, сорванный сталинградским поражением? Что это за город, борясь за который полегло здесь несметно людей?

Западным корреспондентам хотелось найти ключ к разгадке всех этих "почему", побывав во Ржеве. Набивались съездить. Но не обломилось, как принято сейчас выражаться в прогрессивной прозе.

При освобождении Ржева, помню, как прибыли западные корреспонденты. Американец был в крытой стеганой персидской шубе, приобретенной им по пути сюда в Иране. Лейбористка из Англии — в нашей солдатской ушанке. Тогда им показали, что сталось со Ржевом по вине немцев. А позже, должно быть, не было смысла предоставлять обозрению чужеземцев бедствия войны, уже отодвинутой годами, пока заново в муках возрождался город. И корреспондентам отказывали.

Но вот наконец через двадцать лет один удачливый корреспондент из ФРГ получает разрешение отправиться в Ржев. Он представляет издающуюся в Гамбурге газету под названием "Die Welt" ("Мир" в значении свет, вселенная). Выходит, для всего мира подробный очерк о поездке во Ржев, с фотографиями, представляет насущный, или, вероятнее, сенсационный, интерес.

"Поездка во Ржев" ("Die Welt", Гамбург, 4 декабря 1965 года):

"Пахнет жареной картошкой. На вокзале в Ржеве меня встречает Сергей Иванович, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны. Пожатие его руки похоже <173> на тиски. Это та самая рука, которая должна была уничтожить Гитлера.

В начале 1943 года, когда, как говорили, Гитлер должен был

быть во Ржеве, Сергей Иванович добровольно стал командиром особого отряда.

А теперь ветеран Ржева заказал для своего немецкого гостя комнату в гостинице и столик в столовой № 10. Он приглашает меня на обильный, феодальный ужин".

Принимавший гостя бывший партизан, а тогда уже редактор городской газеты Сергей Иванович Б. своей рукой народного мстителя, предназначенной осуществить казнь тирана, разливает армянский коньяк.

"Город Ржев старше Мюнхена или Москвы… — пишет в очерке корреспондент, — 150 лет тому назад не дошел до Ржева Наполеон. Город на Волге был защищен огненными рубежами. Но то, что упустила война тогда, было с лихвой наверстано…

Маленькому городу в сердце России судьбой было дано стать стратегически важным. Армии двух больших народов насмерть бились за узловой железнодорожный пункт между Москвой, Вязьмой и Новгородом. В боях под Ржевом погибло… столько немецких солдат, сколько, например, жителей в Котбусе или Ингольштадте".

Едет сюда корреспондент противника. Этот старорусский город для немцев не чужая земля.

Корреспондент старается лояльно и рассудочно членить все, что фиксирует глаз, слышит ухо, — этот мир жизни, осиливший "непобедимую" германскую армию. "Миру" важен каждый штрих, каждая деталь. Его корреспондент попал туда, где самая толща народной русской жизни. Но может ли он проникнуть в нее?

Еще полно экзотики. Тяжелые самосвалы и крестьянские телеги. "По улицам еще ездят лохматые лошади. Некоторые из них даже запряжены в бензобак с надписью: "Осторожно! Огнеопасно!" Около дорожных знаков для автоводителей висят знаки для конного транспорта. Можно встретить и быков, запряженных в повозки".

"Здесь писал свою "Грозу" и "Бесприданницу" Александр Островский… В прошлом веке жизнь Ржева определяли несколько богатых купеческих семей… Здесь царила строгая патриархальная система. Простые люди <174> низко склонялись, когда мимо проходил богач. Остатки этого ощутимы и сейчас: в поезде во Ржев один старый крестьянин смиренно спросил меня, разрешу ли я ему пройти мимо меня".

Это одна из редких в очерке попыток осмысления увиденною. Но не поддается она заезжему человеку. Невдомек ему, что тот "старый крестьянин" с благодушной предосторожностью подвыпившего одолен был сомнением, справится ли он с препятствием в виде ненашенских высунутых в проход ног,

перешагнет их или подавит. А что "смиренно" — так то проявление народной вежливости, иной раз и от лукавого. И покладистость та обманчива и имеет выворотную сторону. Это невозможно чужому понять, что просто слегка винился выпивший человек, хоть перед встречным-поперечным, тем паче не нашим, да хоть перед миром. Так и угодил миру на обозрение.

"Упитанные официантки", невиданной консистенции суп, который едят в одной с ним столовой пять девушек и два милиционера ("…жидкость с капустой, мясом и сметаной, сдобренная сверх того жиром"), детсады, "три немецкие пушки" перед музеем в бывшей церкви и внутри в музее — мундир обер-лейтенанта пехоты с Железным крестом. "Ядреные девицы и полные колхозницы тащат недельный запас хлеба в корзинах или сетках. Как они справляются с хлебом, упакованным таким образом, да еще везут запеленатого ребенка — совершенно непонятно!" Новые крупные предприятия и жилые дома; "женщины, несущие ведра с водой на деревянном ярме" (слова "коромысло" у немцев нет, как и самого коромысла); "женщины, стирающие белье на берегу Волги". Стоимость железнодорожного билета Москва — Ржев около четырех рублей, что в пересчете всего лишь восемнадцать марок. Удивительная контактность пассажиров. "Во время путешествия русские ведут себя как одна семья. Делят хлеб с соседом. В сумерки в поезде бывает чай, который сервирует проводница. В вагоне некоторые громко храпят. Кто-то ест домашнюю колбасу, приправленную пряностями, и предлагает мне. А к ней — бокал вина, вероятно, из буфета".

Неубранные кое-где поля. Раскисшие дороги. Десятилетний план строительства. Ухабистые мостовые. Крупные предприятия. Женщины, работающие на строительстве <175> улиц. Новые вокзалы. Петушок — излюбленная игра в карты. Приветливость. Клуб. Самосвалы. И опять лохматые лошади.

Когда все окончательно смешалось, тут позарез нужен бы Гоголь, единственно кто мог своим художественным гением воссоздать небывальщину русской жизни. Но он уже упомянут корреспондентом, почерпнувшим кое-что в музее: "Гоголь в конце своего творческого периода тоже прибыл в Ржев. Нигде не найдешь такой подлинной России, как здесь, в верхнем течении Волги, в бывшей Тверской губернии".

Отчет о поездке справедливо завершается так: "Ржев с его историей является городом, в котором старая и новая Россия еще ощутима". Но это, пожалуй, и все. Ответы на вопросы не найдены. Ржев по-прежнему загадка для Запада.

— Взгляните на старинный герб Ржева — лев на красном поле. Это символ непреклонности в борьбе с иноземными захватчиками.

Гул истории слышится мне во Ржеве…

— Так-так, — кивает на мое признание директор ржевского музея Николай Михайлович Вишняков, замечательный знаток и собиратель истории своего края. — И неудивительно. Имеющий уши да слышит.

Николай Михайлович был одним из руководителей горисполкома, когда поднимали Ржев из руин. Но из ближних лет мы уходим с ним все дальше в глубь истории.

— Ржев — один из очагов староверческой мысли, — говорит он.

Я знала, что в давние времена сюда, на ржевские земли, в скиты уходили от преследований церковной и монаршей власти люди, которых ругательски называли раскольниками. Они же себя — "скитскими общежителями", неотступниками от истинной веры, старого обряда, не признавшими нововведений патриарха Никона — "Никона-еретика, адова пса, злейша и лютейша паче всех других еретик, иже быта под небесем".

Их сжигали как еретиков, заточали, забивали кнутами, изгоняли в необжитые места. Их мученичеством крепла и распространялась, по Руси старая вера. Не <176> уступали, не молились за царя, что значило бы возносить молитвы богу в поддержку царства антихристова, меченного орлом о двух, как только дьявол, главах.

Староверы сражались в рядах пугачевцев, с тех пор оружия в руки не брали, не сражались с властью, не бунтовали и не давали повода Истории приметить их, "пассивных", на поверхности. Ушли в себя, в свой духовный мир.

Такой образ поведения напутственно изложен к тому времени в послании одного из пастырей: "Аще требует враг злата — дадите; аще ризу — дадите; аще почести — дадите; аще веру хочет отъяти — мужайтесь всячески… Мы в последнее время живем — и потому всяку дань даем просящему, дабы не предал враг на муку или бы не заточил в незнаемое место".

Теперь нужда: не за веру погибнуть, как то было раньше, а выжить ради нее. Потому — отдай все, что вымогает слуга антихристов, чтобы избегнуть мук и уничтожения, чтобы изгнанием и заточением враг не развеял староверцев-"общежителей".

Отдай все, оставь себе твердую веру, свой духовный мир — только в этом и нуждаешься ты в преддверии конца. "Мы в последнее время живем…"

Ожидание конца света, пока что задержавшегося, все еще было крепью их веры. И если установления властей искажали духовные начала их жизни, тут они выстаивали, "мужались всячески".

Проходили годы, века, но все не слышался глас архангельской трубы с вестью о наступившем конце света. Раскольники распадались на толки, иные толки утрачивали былую непримиримость, принимали черты, более близкие православной церкви. Другие оставались все так же враждебны ей, хотя жестокость обоюдной вражды немного смягчалась.

В напластованиях эпох, формировавших здесь, на ржевской земле, черты народного характера, присутствует и пласт векового выстаивания староверов всех тяжких гонений, устойчивость, приверженность "общежителей" своим поселениям.

Корреспондент ФРГ сообщает в очерке число умерших в войну от голода и убитых ржевитян. Но он не задается вопросом, почему голодающие, гибнущие в огне <177> войны жители всячески сопротивлялись, считая это наихудшим злом, насильственному угону в немецкие тылы, в места, где было бы им безопаснее — отдаленнее от линии огня? Почему они не подпали под немцев, не подчинились немецким приказам, неумолимой, безжалостной силе и до последнего часа своего не расставались с городом?

Ответить нелегко. Такие здесь были люди, в Ржеве, неподатливые. В дни военной разрухи они с глубокой непримиримостью к вторгшемуся врагу, с бунтарским — пусть не всегда внешне вырывавшимся — неподчинением его воле держались за свой рушащийся, горящий город как за родной человеческий очаг.

* * *

Из писем Ф. С. Мазина.

"Вообще в трудные моменты жизни можно лучше узнать лицо человека.

Один раз в начале ноября 41 г. из лагеря военнопленных на нашу улицу пришел, прихрамывая, один наш пленный, лет 44, с сумкой, и ходил по домам и собирал хлеб. А там по домам ходили 2 эсэсовца, они вывели его из дома, повели в лагерь, а по дороге между лагерем и Полевой ул. один выстрелил ему в голову. Услышав выстрел, я побежал туда, а там уже прибежали какие-то женщины, и Тася, молодая тетка моя, была там, и вот Тася все кричала немцам тем вдогонку: "Паразиты!" и т. п. и, что-

то грозя, махала руками в сторону тех немцев, а немцы те быстро ушли. А на этом месте собралась целая толпа жителей около валявшегося пленного, и они долго стояли, ругались и кричали на тех немцев-эсэсовцев".

"А то, что наши разведчики были в городе, говорят те факты, что наша авиация имела точные попадания в важные объекты, сверху ничем не приметные. Так, например, летом 42 г. днем налетело 27 двухмоторных бомбардировщиков наших на стадион "Локомотив", где у немцев были большие запасы бензина глубоко в земле, и тяжелыми бомбами и зажигательными бомбами было все это разрушено и подожжено, в небо почти целый день взлетали белые фонтаны и рвались в воздухе. Потом как-то только что пришел ночью эшелон со снарядами <178> на станцию Ржев, и утром уже сразу ни с того ни с сего прямо на этот эшелон налетела авиация и разбомбила его".

* * *

"До войны в Ржеве молодежь была охвачена желанием летать. На высокой колокольне была парашютная вышка, и все прыгали с нее с парашютом, пока ее зачем-то не разрушили.

Когда перед войной хоронили на старообрядческом кладбище Степана Попова, тогда погибшего на учебных полетах, то в тот день к их дому пришло много курсантов аэроклуба, и они сидели напротив их дома и вели беседу об авиации, так они тогда говорили, что авиация и вообще летать — это как картежная игра, раз полетал — и еще захочется.

Потом я иногда вспоминал, что вот это тогда сидели те, кому предстояло в эту войну вести трудные воздушные сражения".

* * *

"В войну в Ржеве молодежь складывала песни, я слышал такую песню о погибшем летчике-лейтенанте:

Там, да левом береге,
Береге за Волгою,
Был убит за Родину
Парень молодой.
Только ветер волосы развевает русые
На обломках машины боевой.
Пели на мотив "Вышел в степь донецкую парень молодой"…"

* * *

"А мой дядя, я Вам писал, всю войну летал и бомбил немцев. Он перед войной отслужил кадровую, но не пришлось ему вернуться домой, потому что сразу — война. Он спрашивал меня о своей сестре Тасе, которая кричала на эсэсовца "паразит!", и о своей матери — моей бабушке. Я жил с ними, я видел, как вечерами они гадали на картах, жив ли он, и долго, молча смотрели, нагнувшись к коптилке, и раз было так что лица их как-то прояснились — жив. Кстати, бабушка очень не любила, чтобы дома кто-нибудь ругался, "не смей черкаться в доме, слышишь!" — такой строгий вид я никогда у нее не <179> видел. На вид она была всегда такая миловидная старушка, с таким овальным лицом и всегда добрыми глазами. Ни одного нищего перед войной она не пропускала, чтобы что-нибудь ему не дать, даже и в войну, если у нее что было, хоть немного, старалась дать нищим хоть что-нибудь".

* * *

"Немец, если он солдат, а не офицер, обращался к другому солдату — камрад. Между прочим, были такие старухи в Ржеве, когда за чем-нибудь к ним обращались, тоже называли камрад, думали, что так это и надо. Много старух ходило нищих, и, если увидит перед окном в доме сидит немец, спрашивали у него: "Камрад, дай бротцу кусочек". — "Вас (что), вас, матка?" Брот — это у немцев хлеб, так нищие старухи говорили по-своему: "Хлебца — бротца дай, — и покажут пальцем одной руки посередине ладони другой, — кусочек дай, милок". Один какой, может, даст кусочек, другой: "Вег (прочь), матка!" А если старуха не уходит, кричит: "Раус (вон!)" Старухи, знали, что после этого слова надо уже уходить".

"А Тася до войны работала телефонисткой на коммутаторе на льночесальной фабрике. Она тоже не успела уехать, потому что телефоны работали до последнего времени, до самого прихода немцев. У нее были такие синие глаза, все засматривались. Убило ее 12 августа 1942 г. вот при каких обстоятельствах. Утром она говорит своей матери — моей бабушке: "Сегодня мне приснился сон, хоронила маленькую девочку". А бабушка и говорит: "Ну, так за ночь мало ли чего приснится". Потом Тася говорит: "Вроде сейчас не стреляют, потише, пойду, схожу получу семя льняное". А семя это давали за то, что работали зимой на снегу. И она пошла. А пока шла, начался обстрел. И тут какая-то девочка

бежала по улице, она взяла ее на руки и через дорогу стала переносить к бомбоубежищу около Чертова дома, и как раз на середине дороги ее убило, а девочка осталась жива.

Она была всегда хороший человек. Она из старинного хорошего рода, в Ржеве ее многие знали и, кто знал ее, все уважали. Свое человечество она показала и в последние минуты жизни, спасая незнакомую девочку". <180>

"Еще мне хочется отметить, что для более резкого охарактеризования некоторых можно пользоваться и вот какими словами.

Вот, например, тех, кто стрелял в пленного, можно назвать — ничтожестсво.

После описания какого-нибудь тяжелого случая на войне можно употребить слова — к черту бы эту войну, или — такую войну".

"Когда я в то лето писал дяде в Ржев о его сестре, о Тасе, то он прислал мне письмо, в котором писал: "Наша Тася — легенда с синими глазами"…"

Глава шестая

1

Юбилей. Двадцать пять лет освобождения города. Мы съехались кто откуда, из разных городов, каждый на свой лад связан с Ржевом и вместе — войной. Военнослужащие и бывшие военачальники, разведчики, партизаны.

Мне сказали — здесь военврач Земсков. Я не ждала. Не взволновалась, скорее удивилась — вот так, значит, через столько лет, — и по моей просьбе указали на него. Я уже писала: мне б самой, наверное, не узнать. Немудрено — миновало двадцать пять лет. Мне помнилось изнуренное, с запавшими щеками, скуластое лицо. С годами лицо его стало массивным, и за крупными скулами терялись серые глаза, смотревшие сосредоточенно и прямодушно.

Были торжественные собрания, банкет, общегородской митинг на площади. Все свободное время мы не расставались. Может, он был рад мне, помнящей его в тот сокровенный час его жизни, когда, бежав из лагеря, скрывавшийся семнадцать дней в туннеле под водокачкой, он, прихрамывая — ранен осколком разорвавшейся немецкой мины, — шел в наш штаб.

Но временами мне казалось, что нас сковывает какая-то недоговоренность. Да и не какая-то. А определенная — мы в последний раз виделись в доме бургомистра, когда я, не простившись, ушла отнести документы, пообещав тут же вернуться. И не вернулась. Но затеять <181> разговор, объяснить, как оно получилось, казалось неуместным, даже нелепым — все давно унеслось в прорву времени, кому же приспичит помнить тот день, тот дом, тот самовар, из которого мы так и не напились чаю. Это в моей памяти все застревает.

Земсков незадолго перед тем вышел в отставку в звании подполковника и теперь преподавал в медицинском училище.

Мы ходили по улицам нынешнего города, а в сущности, блуждали каждый в своем прошлом.

Опять — март. Тот март и этот.

На солнечной стороне улицы вытаивает на кровлях снег до плешивин. Свисают сосульки. Еще не дружный звон — тоненькое треньканье капели. На тротуаре лоснятся, подтаивая, островки наледи. А на теневой стороне под утоптанным снегом — кора льда. Скользко.

— Сам себе не веришь, что ты во Ржеве, — сказал Земсков.

— Где-то тут ведь был дом бургомистра. Не пойму где. Может, не ориентируюсь?

Он молча отвел от себя рукой, ничего не ответив, и сунул тяжелую ладонь обратно в карман пальто. Перчаток не надевал.

Сказал:

— Все же Ржев… Ну пусть не тот самый, конечно, весь заново отстроен. Но на той же земле…

Тяжело опираясь на палку, шла навстречу пожилая женщина, переламываясь с боку на бок, — нога на протезе. Мы расступились и продолжали стоять, когда она уже свернула за угол.

— А тогда-то, в зиму сорок третьего, Ржев весь в снегу, не пройдешь, только тропы кое-где. — Земсков заговорил, наклонив ко мне голову в черной кроличьей ушанке, надвинутой низко на лоб. — Меня иной раз и без конвоя к больному посылали, врача в городе не было. А идешь — куда? — Он обвел рукой тот невидимый Ржев. — Нигде ни живого. Чувствуешь, дымком тянет — гляди вниз. Сверху-то никого. В подвалах или где поглубже — люди. Затаились. И следов нет. Не выходят. Сголодались. Чем они питались, я уж понятия не имею. Снегом кругом замело — это уже была маскировка. Куда немец пойдет, если кругом снег. Умирали с голоду. Все условия уже были нечеловеческими. Он знает, что в городе смерть его неизбежна, но не уходит. Хуже всего <182> людям казалось оставить свой город. Вот какой народ. Ведь если б искали, где лучше, не надо было немцам под конвоем гнать, расстреливать…

Мы вошли в кафе "Звездочка". Оно переоборудовано к юбилею из столовой № 10, где, по словам корреспондента из ФРГ, его угощал "феодальным" ужином бывший партизан. Старый гардеробщик с веселой обходительностью принял у нас пальто и шапки. Мы сели за столик у окна, задрапированного сверкающим белизной новым тюлем. В обеденное меню можно было и не заглядывать — здесь принимали гостей города как могли хорошо. Земсков заказал вино, молча разлил.

— За встречу, — сказала я неуверенно.

— Выходит так.

Он был напряжен. На его лбу оставался рубец от шапки. Лоб набряк от напряжения, оттянув валики надглазий, и серые глаза открылись, смотрели на меня прямо и отчужденно.

— Я тогда ждал вас, — четко сказал он. — Сколько только мог. Уже, помню, смеркаться стало. Мне пора было обратно в медсанбат, я еще тогда ведь залечивал ногу. Вас все не было. Я изложил то, что считал своим долгом, на листке, что вы мне дали. Мне оставалось отнести его Калашникову…

Я почувствовала, как память моя тяжелеет, опускается вглубь, туда, где, оседая, маются, затаившись, вины. И этот белый тюль

на окнах, как в доме бургомистра.

— Я, Георгий Иванович, не смогла вернуться… Приказ был сняться, и даже не было возможности добежать обратно, сказать…

Ах, не был он ни гибок, ни изощрен, ни эластичен, и все, что жизнь причиняла ему, не во взвеси, не в обрывках бродило в нем — срасталось с ним капитально.

— Борщ стынет.

Он не обратил внимания. О чем-то задумался. Заговорил не спеша:

— Когда ото Ржева ехали мы на Подольск, заночевали у старушки. Она обрадовалась, что мы у нее. Рада, что пришли свои войска. — Видно, это сбереженное воспоминание согревало, и лицо его помягчело. — Мы не открываемся, что мы пока на проверке. "Что мне с обувью делать?" — полный подпол у нее немецких <183> сапог и ботинок. Свои пришли, и она рада все отдать, что сохранилось у ней.

— Это вас-то на проверку?

— И к лучшему. Там разом разобрались и на фронт меня вернули. А с Калашниковым понять друг друга трудно.

* * *

Мне вспомнился Калашников. Внушительного роста, рыхлые округлые плечи, верткая жидкая шея. Лицо не злое, неприметное, беспечальное.

— Так что же Калашников?

Земсков доел остывший борщ, поднял темную, не поддавшуюся седине голову.

— Бывают такого кроткого ума люди, — с великодушием натуры крупной, неподточенной сказал Земсков.

* * *

"Вы были членом партии?"

"Да. В первые же дни войны я вступил кандидатомю Я считал себя обязанным к этим действиям…"

Глаза Калашникова, легкие, безмускульные, замирают, не пытливый — стоячий взгляд. Заминка.

"И где же ваш партбилет?"

"Я говорил: он был в кармане гимнастерки. Я ее снял, когда мы переплывали, чтоб не замочить документы. Посреди реки завертело, когда немцы накрыли нас огнем, — гимнастерка

утонула…"

В плен попал не раненым, в сознании. А не отстреливался, не покончил с собой. Был безоружный? Пистолет тоже утонул? Одно к одному.

В таких невыгодных обстоятельствах своим "кротким" — недалеким — умом Калашников разбирался проворнее.

Война много чего ему доверила — не по его скудному духу. Но он не отягощен ответственностью. А сердце сослепа ничего не подсказывало о человеке.

Но вот ведь что-то Земсков организовывал в лагере, возглавлял. А поручал кто ему?. Никто. Он ведь то в плен, а то — в герои. Самозванцем. Да в чудном пальто, без шинели, без оружия…

Много кое-чего непонятного, досель неизвестного притянула за собой здешняя победа. Еще не все обмозговано кем надо, и не постичь самому. Довоенный опыт <184> газетного репортера ему не в помощь. Калашников нуждается понизить, умалить Земскова — тогда и понятнее, и охватнее, и заминки нет. Его глаза оживают, круглеют, действуют, лихорадят тщеславием власти. И искренним любопытством.

"Только четыре раза порезали немецкую связь? А ведь вы больше чем четыре раза выходили из лагеря без конвоя".

А у Земскова и по сей день в его сильном лице, в серых глазах детское упрямство бесхитростности. И от недоверия замкнется. Ведь ощущал себя, что скрывать, героем. А вслух только одно:

"Так что же, не приходится мне дальше служить?"

"Как знать…"

* * *

И ведь не то чтобы злой человек, а потерзать может, ни света, ни тепла в сердце, и пристегнется через всю жизнь по пятам за Земсковым, как ходит кривда за правдой. Но об этом еще впереди.

* * *

К нашему столику подсел человек с очень прямой спиной и с праздно-печальным лицом, корректно одетый — в черном костюме, с белой манишкой. Когда-то он был помначштаба полка по связи, и хотя принял почетное приглашение прибыть на юбилей, но сам, видно, не настолько был привержен памяти о

войне, чтобы томиться без дела уже третьи сутки. Он вдруг смущенно и самолюбиво покраснел, почувствовав, что помешал нам, и, пружиня пальцами о крышку стола, легко оттолкнувшись, поднялся и стоя еще долго, настойчиво приглашал нас приехать в Псков, где под его началом облэнерго, суля свозить в сохранившиеся пещеры с настоящими живыми монахами. Закурил, оглядывая зал: два генерала и другие незнакомые ему люди, прибывшие на празднество, сидели за соседними столиками. Он отошел в поисках свободного места.

— Вы о Курганове спрашивали, — заговорил Георгий Иванович. — Последний раз я его видел, когда были на. проверке в штабе фронта в Подольске. Мы с ним в приемной ожидали вызова на разговор, или, если хотите, на допрос все же. Курганов очень изменился, сидел с лицом убитым, почерневшим, да и маялся, должно быть, как <185> человек, повседневно до того пьющий. Он был подавлен. И, согласитесь, было с чего. Полицай лагерный… Но он сказал мне тогда с запальчивостью: "Мы свое задание выполнили. Наша совесть чиста". Я промолчал. Что он имел в виду, говоря так о себе, я не знал. Совесть моя не была запятнана. Но задание я не получал. А о его задании мне неизвестно было.

Время от времени подходила крепкая, коренастая официантка в накрахмаленной кружевной наколке на голове по случаю праздника, суматошно шмыгая бровями, ощупывая всей кожей темени, не сползла ли наколка, что-то ставила на стол, уносила тарелки.

Никто больше не мешал, не подсаживался, видели — людям надо дать поговорить.

Земсков откинулся на спинку стула, лоб его разгладился. Нет, ничего не пролегло между тем и этим Земсковым, кроме череды лет с их внешними приметами. А с годами ему идет и широкая грудь и даже тучность, они как бы под стать его человеческой весомости. Говорил он с небольшой одышкой. О лагере военнопленных тут, в Ржеве, о страданиях истязаемых людей.

— Человек от голода перестает понимать окружающее… Его существование для него незаметно. Теряет себя…

Большего не сказал из душевного целомудрия.

— Вот хоть и сколько лет прошло… А все об этом… — наклонившись над столом, с доверием взглянул открывшимися серыми глазами. — Трудно откопнуть от себя…

Мы помолчали, и так, будто у нас был навык молчания вместе. Таящееся в нас прошлое окрепло.

Но есть же край, есть же немощь человеческая, и вот есть же

что-то высшее, что светит, одолевая мрак и в земном аду, в невыносимой скорби.

Ох, капитан Калашников, капитан Калашников, такое непоштучно — сколько раз порезаны телефонные провода немцев? — это непрактичный дух человеческий поднимался в немыслимых обстоятельствах, в смертной обреченности плоти и перед лицом непреодолимого.

— Вы о чем? — бережно спросил Георгий Иванович, нарушая тишину нашего молчания.

— Вспомнила, как увидела вас.

Он шел прихрамывая, в длиннополом темном пальто. Пустынной улицей, по черному снегу; было в нем что-то апостольское… <186>

2

— Тогдашним начальником полиции был по лагерному прозвищу Борзой. Это был не человек — злой пес, зверь. Он издевался над пленными. Смерть его не миновала: немцы похоронили его на территории лагеря с почестями в отдельную могилу и березовый крест ему поставили. А на второй день немцы обнаружили на кресте приклеенный листок — это наша подпольная организация ему наклеила проклинание:

Ты предатель, мучитель мерзкий,
Изменник Родины, в могилу ушел один.
За предательство Родины в награду от фашистов
Осиновый кол ты получил.

Этот березовый крест в наших глазах все равно что осиновый кол был. Да и в деревне у нас в старое еще время говорили: "Вовкулака осиновым колом пробить надо".

Я не поняла.

— Это кто человеческое подобие утратил, обернулся, волком, или собакой, или каким страшилищем, — вовкулак.

Георгий Иванович водил ладонью по голове, щурился, напряженно собираясь, вслушиваясь в воспоминания:

Мы погибаем за Родину, общее дело,
В братской могиле обретем мы уют.
Народ найдет к нам дорогу,
На могилу друзья придут,
Венок положат, цветы посадят,
В книгу Почета занесут.
Тебя, предатель ненавистный,
Народ не вспомнит, друзей у тебя нет.
И никто на могилу к тебе не придет.
Фашистская награда — осиновый кол —
На могиле сгниет.

Могила твоя как предателя
Чертополохом и бурьяном зарастет.

Немцы рыскали, искали авторов, но найти им ничего не удалось.

По тому, как волновался он, вспоминая, запинаясь, проглатывая слова и все же помня наизусть, было понятно, что он сам сочинитель этого проклинания.

— Заметил я в лагере нового полицая. Нам стало известно, что он был советским командиром. Это некто <187> Иван Курганов. Кстати, мне пришлось лично выслушать его правосудие. Наступили холода. Сарай с тесовым покрытием. Каждому охота туда пролезть. И полицаи лупят. Зверство. Я не выдержал: "Что тут за палачи!" Я протиснулся внутрь. Полицай за мной, но потерял меня. Я поделился с одним, что сидел чинил ботинок: это я крикнул. Может, это он меня предал. На другой день полицай за мной пришел. Здоровенный. Раза два ударил он меня: "Я хоть сегодня, хоть завтра буду твоим палачом". Повел. Пульмановский вагон остался от заготзерна. Это, оказывается, штаб полиции. Смеются, издеваются надо мной. Пришел Курганов. Велел всем уйти. Только остался тот полицай, что привел меня. "Ну, как это ты так над полицейскими?" Сделал мне допрос. Я сказал: я думал, это наши пленные. "Полиция защищает интересы пленных. На этот раз мы вас прощаем. Но будьте дисциплинированны". Начал читать мне мораль, что вести себя в лагере нужно послушно, уважать полицию, никогда не прекословить и помогать ей.

Тот полицейский даже зубами скрипел. Так хотел расправиться со мной. А за вагоном ждали полицейские, шуметь начали: дескать, таких нужно вешать. Это у них на практике до того так и было. И скажу вам, не всякий трус может быть палачом, но негодяй — может. Курганов, отпуская меня, сказал одному из полицейских, чтобы тот проводил меня до сарая. Потом я понял, что это было сделано для того, чтобы оградить меня от произвола других полицейских. Я был поражен снисхождением лагерного полицая, раньше такого ожидать не приходилось, меня обязательно уничтожили бы… Да он не избивал пленных, больше пугал, вел себя по отношению к пленным хорошо…

3

В гостиничном номере крашеный пол устлан истоптанными плетеными половиками, застойный, вязкий запах их мешался с щиплющей глаза и ноздри масляной краской лоснящихся стен. Железная кровать. Подзор. По-домашнему взбитые пухло подушки ловко усажены углом одна на другую и — под накидку с

прошвой, как здесь называют кружева. От этой провинциальной простоты, опрятности на душе стало тихо, спокойно. Я переобулась — скинула сапоги и прошлась по твердому половику <188> в домашних туфлях. Притянуло к окну. За окном был темный вечер. Ни души. Тусклое небо. Напротив над низкой черной крышей высветлена его сизая кромка. Покачивало фонарь, и на черных прямоугольниках окон мелькали легкие блики, блестела заледенелая колея на проезжей части, подрагивало под фонарем молоденькое деревцо. А чуть по сторонам от фонаря, податливо отступая в тень, улица терялась, будто заповедная, и я растроганно чувствовала свою связь с ней и признательность кому-то за эти минуты проникновенной слитности со всякой земной малостью.

Но вот на улице все замерло, ничто не шелохнется, повалил снег.

Я задернула занавеску, села оцепенело к столу. И стало вдруг странно, затерянно в глухом, замкнутом помещении с бедно и нагло выкрашенными смутно-синим нежилым цветом стенами, раковиной с облупленной по дну эмалью и недействующим краном.

Я предпочла бы, отвернув пикейное покрывало) улечься в рыхлую, уютную постель, но передо мной на столе была папка, врученная Иваном Васильевым, — его переписка в поисках следов судьбы Курганова.

Я зажгла настольную лампу, погасила верхний свет. Стены померкли. Комната затаилась. Все как-то откачнулось. Высветилась лишь на столе под лампой — папка судьбы.

4

"31. X. 66 г. Отдел милиции Керкинского райисполкома Турк. ССР. — И. Васильеву.

На Ваш запрос от 16 октября 1966 года. Сообщаю, что гражданка Курганова проживает в гор. Керки по фамилии Тугакова Мелания Давыдовна, ул. Разина, 7".

След второй жены, если она в самом деле была — о ней упомянуто в сообщении председателя сельсовета с родины Курганова, — затерялся. Первая жена сразу же откликнулась из города Керки.

Я взяла в руки конверт с ее письмом, выпала фотография: Курганов в прежнего образца гимнастерке, какие были у нас до сорок третьего года, с подворотничком, на петлицах три кубаря — старший лейтенант Красной Армии. Зачесанные назад волосы распадаются надо лбом; над широкими бровями дуги морщин, глубоко <189> залегшие к переносице. В лице все крупно: крупные, сумрачные, напряженные глаза, большие прижатые уши,

носище с тяжелыми крыльями, под ним широкий желобок к крупному, извилистому, жесткому рту. Что таит это лицо? Смутно. То ли темные силы, до поры не пробужденные, то ли истовость понимания, в чем грех, в чем спасение.

"Адресный стол мне вручил Ваше письмо 27. X. 66 г. Вы заинтересованы моим покойным мужем и хотите уточнить что с ним было с 1943 г. Что я знаю я Вам все опишу. Мой муж кадровик погранвойск. На фронт он пошел 30 июня 1941 г. Я получила от него письмо с г. Муромск, где их формировали. Это вскором времени как их отправили. Да я не написала его звания, он был старший лейтенант. И до 1944 г. по октябрь м-ц о нем ничего не знала. В 1944 г. в октябре м-ц он мне прислал телеграмму с г. Кисловодск. В телеграми пишет выезжай немедлено я тяжоло болен. Эту телеграмму он мне присылал с госпиталя, номер этого госпиталя я сейчас не помню. Я с сыном тут же выехала. Ну Курганов И. Г. находился в госпитале 6 месяцев до нашего приезда. Со слов Курганова я узнала, что он был в плену и бежал с плена, его ранили при побеге и его подобрали партизаны безсознания. В партизанском отряде его лечили. А под Витебском его опять ранили, и доставили самолетом в г. Кисловодск куда он нас вызвал, я с ним была 3 месяца, он был сильно т. е. тяжоло раниный, сильно была разбита челюсть, легкие были простелены, в голове были осколки, рука была простелена, и был ранен в ногу, общем всего изрешетили. Курганов И. Г. находился в госпитале около двух лет, война кончилась, он еще был в госпитале и нам с сыном прислал телеграму с днем победы. 1945 г. примерно в сентябре я получила письмо от него уже с г. Еревани. Он нам писал, что находится в г. Еревани. Ждет назначения, и как только получит назначения, и приедет за нами. Адреса он с г. Еревань в письме не писал. И это было последнее письмо. Я очень долго ждала, 3 года, и потом объявила всесоюзные розыски, но мне розыски так и не нашли его".

Он не был откровенен с женой, и в ее изложении не понять, что и как с ним было. Одно несомненно: в Подольске в штабе фронта его посчитали заслуживающим доверия и он с оружием в руках участвовал в жестоких схватках с врагом, пока его всего не "изрешетили". <190>

"В 1950 г. в январе он мне сам прислал телеграму, — пишет дальше жена. — Вот ее содержания, выезжайте сыном г. Хабаровск 2-й улица Запарина, № 84, квартиру номер забыла. Ну мы сразу не поехали, Вы сами должны понять, что я женщина и мать своему сыну, столько лет не знать, что было с ним, и вдруг сламя голову бросится на первый его зов. Между нами в письмах

была перепалка, я спрашивала где ты был столько время, а он мне в своих письмах отвечал, когда приедишь все узнаешь. Ну так я и неузнала, что было с ним эти 4 года".

Все же спустя еще четыре года, в 1954 году, она решила поехать к нему в Хабаровск, "и вот судьба не сулила хорошего, я не успела выехать, мне прислали письмо, что он умер. Как Вы думаете, это мне было легко все это пережить, я думала, что я сойду сума, ну пережила. Я ради сына не могла сразу поехать к нему, боялась за его воспитания, боялась, что Курганов заберет его из училища, он был против, чтобы сын был военный. А мне очень трудно было добиться, чтобы моего сына приняли в Суворовское училище МВД. Ну я тогда добилась своей цели и думала, что мой сын меня не забудет. Ну я ошиблась, я сыну сейчас не нужна, у него своя семья, а я лишняя. Он мне даже письма не хатит написать. Он сейчас работает в Саратове в милиции старший лейтенант".

Во втором письме она просит выслушать ее обиду и помочь: соседка в ссоре сломала ей руку, а суды не принимают иск и нет на соседку управы.

"Вы пишите, чтобы я поточнее написала о своем муже И. Г. Курганове. Поверьте мне, я ничего не могу дополнить то, что я Вам написала. И. Г. Курганов был очень скуп на рассказы, о себе он мало говорил что он когда мог делать. Я точно не знаю где его ранили, под Витебском, или подо Ржевом. Мне помнится, что под Витебском, оттуда его доставили в Кисловодск. А где он был до своего ранения, точна я не могу сказать, был ли он в партизанах или в легулярной части. До того как он попал в плен, он был разведчиком. Я знаю это от фронтовиков которые 1942–43 годах возвращались с фронта. Я в 1943 г. сама писала. Был ответ, что Курганов И. Г. был. А где он существенного ничего не прислали. И. Г. Курганов мне говорил при каких обстоятельствах его забрали в плен. При выполнении задания его ранили, и он потерял сознание. А где это происходило, я не знаю. <191>

Иван Афанасьевич, не обижайтесь на меня, что я так мало знаю за своего любимого мужа. Я ему посвятила всю свою жизнь, я осталась с 26 лет как началась война, и я замуж не выходила. Извените меня за откровенность.

Вот я Вам все описала, что сохранилось в моей памяти. Писем нет, фото я Вам высылаю, и есть уменя Грамота И. Г. Курганова, я Вам ее тоже вышлю, ну прошу мне вернуть, это все что осталось мне на память". Стертая на сгибах, погрызенная мышами грамота:

"Товарищ Курганов И. Г. Командование отряда в ознаменование 1 мая 1935 г. за исключительно добросовестную работу награждает Вас настоящей грамотой и объявляет

благодарность. И выражает уверенность, что Вы своей дальнейшей работой еще активнее будете бороться за лучшие показатели учебы и службы в отряде.

Н-к Пограничного отряда

Пом. Н-ка отряда".

На этом все обрывается. Больше ни письма, ни сведений о Курганове. Смутная, злая, трагическая судьба.

Я погасила свет, легла. Раздались по-ночному вкрадчивые мужские шаги в коридоре, тихий стук в дверь, что напротив, сиплый, нетрезвый голос ломился: "Отвори! Кому говорят! По-людски просят!" Дверь не отперли. И как-то безучастно увещевая себя: "Ну и падла…" — человек пошел прочь, матерясь и шаркая башмаками.

Я долго лежала без сна. В просвет занавесок текла белесая ночь. На столе назойливо мерцал стеклянный графин с водой.

Глава седьмая

1

Утро в гостинице началось шумно, говорливо, бесцеремонно. Это было утро Большого праздника. В общей для всех умывальной под несколько кранов с колючей, ледяной водой подведен железный желоб, и всем от всех достаются брызги воды с обмылками, со стряхнутой с бритвы пеной, с клочьями зубной пасты.

Когда я возвращалась к себе, за поворотом коридора <192> вдруг вспыхнули красные гвоздики. Это у дверей моего номера толпились школьники.

Красные гвоздики поместили в графине, ребята уместились на кровати, на диванчике и стульях, а кто и прямо на полу. Они смотрели на меня, молча, протяженно, цепко, и я с неловкостью почувствовала, что для них я вовсе и не я, а некий символ. Но мы заговорили, и чувство неловкости исчезло. Это не те ребята, до которых не достучишься. Они и в генах и в пересказах родных несут в себе завещанную им память о жестокой войне. Когда они ушли, осталось ощущение чистосердечности прожитого с ними часа. В окно мне было видно, как они высыпали из гостиницы. В ушанках, вязаных шапочках с помпонами, в платочках…

У меня в архиве — детские сочинения. Я храню их. В 1943 году, когда война еще была в разгаре, ребята, потеряв в оккупации два года обучения, вернувшись в школу, в Ржев, написали о пережитом. Они были не старше тех, что приходили ко мне в гостиницу. Но прошло двадцать пять лет, и кое-кому из этих те доводятся, возможно, родителями.

А тогда-то:

"Это было в дер. Шандалово Ржевского района. В избе, где нас приютили хозяева, расположились на ночлег фашистские бандиты. Среди ночи мой брат 6-ти лет настойчиво что-то все просил у матери. Он даже плакал, нарушая покой фашистских извергов. Они взяли моего брата, увели за сарай и там расстреляли".

Ученица Колчанова.

* * *

"Когда немцы заняли город, они начали проявлять свою власть с того, что стали ходить и ездить по уцелевшим домам и отнимать у жителей все то, что кому понравится. А когда настала

зима, они снимали теплые сапоги прямо с ног, где б ты ни находился — на улице или на дороге вдали от жилья.

Однажды мы услышали крик. Я выскочил на улицу и увидел, что немцы бьют прикладами какого-то старика. Оказывается, старик шел за водой в валеных сапогах. И хоть сапоги его были уже старые, но немцы, увидев их, обрадовались и такой находке. Долго стаскивали они сапоги с сопротивлявшегося старика. Сдернули они сапоги с дедушки и пошли, посмеиваясь над ним, своей подлой дорогой. Старик в одних портянках побежал по <193> снегу. Он подбежал к нашему дому. Мы впустили его в квартиру, дали ему носки и лапти, и дедушка пошел к себе. "Хуже всякого лишения это терпеть унижения от проклятых собак", — говорил дедушка".

Хренов Владимир, ученик 4 класса.

* * *

"Напишу еще один случай в Ржеве. Однажды рано утром я пошла за водой, в это время гнали наших пленных. Голодные пленные хватали гнилые кочерыжки, а за это их били палками и прикладами. У меня в кармане была лепешка. Я дала одному бойцу. Немецкий патруль прикладом ударил бойца, и боец упал. Я от такого зверского поступка бросилась бежать".

А. Новикова, ученица 4 класса.

* * *

"В сентябре 1942 года, когда наши войска начали приближаться к Ржеву, по приказу комендатуры все население с Советской стороны обязано было немедленно выселиться. Народ не хотел идти. Их били плетками, прикладами, выгоняли насильно из домов, сажали на машины и увозили в Германию. Так был увезен и мой отец. Где он теперь? Что с ним? Жив ли? Мы с мамой ушли в деревню. Там староста собирал на работу на немцев. Один колхозник, наш сосед, однажды на вызов старосты не вышел на работу: он сказал, что болен. Староста вызвал полицейского, который явился с плеткой. Колхозник опять отказался выйти на работу. Тогда собранные вооруженные полицейские согнали весь наш народ на улицу. Привели больного и приказали ему лечь на принесенную скамейку. Тот отказался. Ему связали руки, раздели, привязали к скамейке и на глазах народа плетью хлестали 25 раз. Он уже не мог стонать. Отвязали

его. Его свезли в немецкий штаб, там снова пороли. Скоро его из штаба куда-то увезли накрытого. Мы больше не видели этого колхозника".

Иванов Павел, ученик 6 класса.

* * *

"Мы жили в деревне Тимофеево. Немцы поймали моего дядю — брата папы. Дядя был комсомольцем. Фашисты повели его в комендатуру. Он ничего не ответил немецкому офицеру на допросе. Его отвели за сарай и там расстреляли, а труп закопали в снег. Бабушка моя пошла разыскивать тело своего сына, несмотря на запрещение. Долго потихоньку от немцев разрывала она везде <194> снег и разыскивала милого сына. Но немцы об этом узнали. Они застрелили бабушку в тот момент, когда она своими старыми руками уже коснулась дорогой находки".

Кудрявцев Анатолий, ученик 4 "б" класса.

* * *

"У моего двоюродного брата — двенадцатилетнего мальчика — умерла тогда мать, отца убило бомбой, и он остался кормилец младших детей. Нечем кормить рты, и он решил утащить немного хлеба из немецкой машины. Немцы схватили его и произвели с ним жестокую расправу. Сначала его избили, потом посадили под пол на лед. Каждый день приходил комендант и приказывал своим солдатам давать мальчику десять розог утром, пять днем и десять вечером. Получая только сто грамм хлеба в день, отсидел он в подвале десять суток. Потом комендант решил, что не стоит "возиться" с русским щенком, и приказал мальчика повесить. Для повешения даны были 4 солдата, которые сначала избили его в сарае, а потом долго таскали его по навозной весенней талой луже. Когда тащили его вешать, не выдержал народ. Собравшиеся у сарая русские разгневанные люди кричали, плакали, грозили паразитам и с криком направились к сараю, у которого совершалась расправа. Услышав такой протест народа, явился комендант и приказал отпустить. Мы толпой бросились к нему. Он был настолько избит и окровавлен, что к нему нельзя было прикоснуться, а не только снять с него одежду. Пришлось все на нем разрезать. Мы не надеялись на его выздоровление".

Лапина Тамара, ученица 6 класса.

* * *

"Когда немцы были в Ржеве, они насильно выгоняли всех наших матерей на работу. Многим удавалось спрятаться. Но ведь нужна была вода и пища. Когда женщины выходили за водой, в них стреляли из винтовок или автоматов. Один раз я видела, как убили сразу несколько женщин, вышедших за водой. Среди убитых была мать одного знакомого мне мальчика, Вити. Когда Витя увидел, что его мама убита и лежит на улице, он заплакал и побежал к ней. Но не пришлось ему добежать до мамы, он упал на камни пустой улицы, а не на труп мамы. В него выстрелил немец из винтовки".

Ковалева Галина, ученица 4 "б" класса. <195>

* * *

"Я видал только ужасную смерть.

В январе 1942 г. в нашу квартиру пришел немец и стал выгонять на работу маму. Она отказалась. Немец со всей силы ударил ее прикладом по спине. Даже не охнув, мама упала навзничь. Мы заплакали, но тихо: в квартире находился немец. Мама поболела неделю и умерла. Остались мы с бабушкой. Через месяц после смерти мамы пошли мы с бабушкой в деревню искать продуктов, так как нам совсем было нечего есть. Достали мы немного ржи и семян. На обратном пути догнала нас женщина с мальчиком еще меньше меня, и мы все пошли вместе. Она несла за плечами картофель. У входа в город остановил немецкий солдат, который стал отнимать у той женщины ее дорогую ношу: она несла детям пищу. Немец схватил у нее мешок и бросил в снег. Мальчик бросился к мешку, лег на него и не хотел отдавать немцу. Но немец ударил мальчика по голове прикладом. Тот покатился мертвым. Обезумевшая мать набросилась на немца с кулаками. От выстрела врага из винтовки оборвалась жизнь этой несчастной женщины".

Меркурьев Виктор, ученик 4 "б" класса.

* * *

"Все на свете прощается, кроме памяти ложной и детского ужаса" — эти строки написаны еще в преддверии войны погибшим на ней молодым поэтом.

Все валили на площадь — на городской митинг. Впереди меня дядька тянул за веревку санки с мешком картошки; бабка, согнувшись, поддерживала мешок. У ворот рынка он раскатил санки, бросил ей: "Ну, базарь!" — а сам припустил к площади. Из ЧД, Чертова дома, на ходу запахиваясь, соскальзывали с обледенелых ступенек подкрепившиеся молодцы и степенные мужчины — и все туда же, на площадь. На старинной часовенке, что, уцелев, стояла двадцать пять лет назад одна среди руин с плакатом, звучавшим как заклятье: "Мы возродим тебя, Ржев!" — теперь кумачовая широкая опояска: "Слава героям, освободителям Ржева!" — и цифра "25".

Был лиловый, мартовский, снежный, рыхлый день. С трибуны председатель горисполкома зачитывал послание: <196>

"Дорогие наши потомки, жители города Ржева и района, люди XXI века!

Мы не знаем ваших имен, мы никогда не увидим ваших лиц и не услышим вашего голоса. Но сегодня, 3 марта 1968 года, через многие десятилетия, отделяющие нас от ваших дней, мы решили обратиться к вам с этим посланием.

Пусть прозвучит оно для вас святым наказом нашего поколения.

…Тяжелые испытания выпали на долю города Ржева и района в годы Великой Отечественной войны.

Город был не только 17 месяцев в оккупации, но и был городом-фронтом.

Все эти месяцы советские войска вели ожесточенные, кровопролитные бои под Ржевом, прикрывая путь к столице нашей Родины — Москве…

Вы никогда не увидите того, что оставил нам после себя враг, во что превратил он старинный русский город Ржев.

В дымящих руинах и развалинах лежал наш город.

Были разрушены все промышленные предприятия, железнодорожный узел, уничтожены школы, больницы, клубы, театры, сады и парки. Из 5 с половиной тысяч жилых домов осталось только около 300 полуразрушенных домиков на окраинах города.

Тысячи ни в чем не повинных людей погибли от голода, были расстреляны и замучены в лагерях. Многие тысячи угнаны на каторжные работы в фашистскую Германию. Из 60 тысяч человек, которые проживали в городе, на день освобождения было 362 человека. В районе 96 населенных пунктов стерто с лица земли…

Мы чествуем сегодня тех, кто освободил нашу землю.

Мы низко склоняем свои головы перед теми, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и спокойствие нашего города.

В знак глубокой благодарности на самом красивом месте, на берегу Волги, воздвигнут величественный памятник в память героев Великой Отечественной войны.

Мы чествуем сегодня и тех, кто, отложив винтовки, взялся за мастерок и лопату, чтобы восстановить разрушенный город, села и деревни… дать людям свет, тепло и пищу. <197>

…Из пепла, из руин и развалин встал наш родной Ржев.

Но помните, обязательно помните, чего стоило это вашим далеким предкам.

На развалинах, оставленных войной, они строили будущее, то будущее, в котором живете вы.

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ПОТОМКИ!

То, о чем мы рассказали вам, лишь малая доля… Мы передаем вам все, что сделано и завоевано нами…

Мы счастливы, что живем в это время…

И в то же время мы завидуем вам…

МИР И СЧАСТЬЕ ВАМ, ДОРОГИЕ ПОТОМКИ!"

И дети, те, что приходили ко мне, и с ними еще и многие другие, запели песню о том, каким прекрасным стал поднявшийся из руин город, как далеко простираются его новые неоглядные улицы с новыми домами. И каждый куплет заканчивался:

И окоп свой солдату

Никак не сыскать.

Руководители города сошли с трибуны, за ними и мы все. Торжественная процессия с "Завещанием" двинулась под оркестр и щелканье фотоаппаратов к монументу в память Отечественной войны. Опустили письмо в люк на постаменте, накрыли гранитной плитой. На ней высечено:

"Вскрыть в 2068 году

Завещание

Потомкам-ржевитянам

Дата закладки 3 марта 1968 г."

День двадцатипятилетия освобождения города.

Медленно рассеивался народ. Площадь пустела.

3

Письма из моего архива…

"На вашу красну площадь нам был дан приказ ворваться ранним утром летнего месяца 1942 г. Это был получен приказ овладения Ржевом. Комиссаром полка был капитан. Фамилию забыл. По национальности еврей. Он так довел приказ и был убежден, что город будет взят. Мы должны нашим танковым полком быть <198> первыми. Нас поддерживало в наступлении много других частей. Сбор всех машин полка на красной площади во Ржеве. Когда шла артподготовка, мы стояли на танках и

смотрели, что делается в городе. Мы находились в 5–8 км от города на возвышенности, около деревни на Б. Или Бабушкино, или Бабино, забыл. Чтобы была карта, все вспомнил бы. Перед атакой два "мессера" летали над самыми башнями. Комиссар по радио подбадривает: это последние немецкие вздохи за Ржев. Тут дан сигнал в бой. Комиссар дает команду на повышенных скоростях за мной на красну площадь во Ржев. Он первый, за ним мой танк. Не успели упасть последние снаряды артподготовки, как мы были на окраине города. Поступает команда не останавливаться, следовать за ним. Начали продвигаться к центру города. Двигались разными скоростями. Дорога была завалена кирпичом, охвачена пожарами. Поступает команда: мы молодцы, приказ выполнили, говорит по радио комиссар. Когда мы опомнились, нас прибыло только две машины. Начали связываться со штабом, не получилось. В танкошлемах множество разных команд, ничово нельзя разобрать. Я Сокол, Я Волга, Я Хмара, Я Сирень. Вас не слышно. Минут 7–8 постояли на вашей красной площади. Комиссар дает команду, возвращаемся к окраине города поднять пехоту. Когда были в городе, не видели живой души. А что представляла ваша красна площадь, так то описать трудно. Завалена грудами кирпичей, несколько сбитых снарядами деревьев и кусок железного забора возле скверика. У нескольких больших зданий уцелевшие только подвальные сооружения. Когда мы возвращались на окраину, тут происходил ужасный бой. 7–8 танков нашего полка горело в ложбине. Крупное соединение немцев с леса открыло ужасный огонь, отрезало пехоту от танков, танки подожгли. Пехота отошла, израсходовав боекомплект по немцам. Я с комиссаром с болем в душе возвращались на исходные позиции. Комиссар ехал впереди, я немного сзади правее. Пушки были направлены в сторону леса, хотя стрелять было нечем. Вдруг я заметил, что башня с комиссарова танка склонилась и танк окутан облаком дыма и пыли. Свой танк я развернул правее. И заметил, как Самоходная пушка немцев, сделав прямой выстрел, прячется в котлован. Я предупредил екипаж своего танка, что держитесь, иду на таран. Набираю максимальную скорость <199> и направляю свою машину на Самоходку. Мне удалось заметить, что два человека расчета возились возле затвора, а офицер-немец стоял сзади и махал руками. Секунда, и мой Т-34 накрыл пушку и расчет. Резкий толчок, я на другой стороне котлована. Когда я подъехал к комиссару, он и башенный стрелок были убиты. Машина могла двигаться самостоятельно. Где и кто хоронил героя комиссара, я не знаю. Ну где-то в етих местах. Героя комиссара нужно найти. Ржев должен комиссара знать.

По прибытии на исходный рубеж начали сколачивать ударную группу. И в 2–3 часа дня начался 2 штурм города. Пройдя небольшое расстояние, прошел большой ливень. Наша группа танков засела в болоте, группа легких танков залита полностью. 4 часа сидели в машинах по плечи в воде. Только перестал дождь, немецкие самолеты 17–18 штук начали бомбить. Когда были сброшены бомбы, вода ушла в воронки, я завел свою машину, начал движение назад, выскочил на более твердое место и при помощи тросов вытащил еще 3 танка… Прошу вспомнить танкистов моей части, погибших на Калининской, Ржевской и Великолукской земле:

1. Ст. лейтенант Рогозин Николай, командир танкового взвода. С Кавказа.

2. Докутько Николай, сержант, командир башни моего танка. Из Минска.

Должны быть живые:

1. Анохин Иван, командир танковой роты, капитан, уроженец с г. Орел.

2. Рябичкин Александр, радист моего танка Т-34.

3. Борисов Николай, ком. башни, сержант, с г. Новосибирск.

4. Новожилов Сергей с г. Вологда…

На етим кончаю воспоминания о боях на ржевской земле.

Остаюсь Кривошея Петр Тимофеевич, 1922 г. р. Воспитывался в детдоме. В данный период работаю старшим радиотехником Бышевского радиоузла, Фастовского р-на, Киевской обл. Имею 3 сына".

* * *

"Я хочу, чтобы мне поверили, что 153 стрелковая дивизия и наш истребительный противотанковый артдивизион, в котором я был до конца войны, которые сформированы <200> на Ржевской земле и в основном из тех людей, что воевали за город Ржев, прошла большой, славный путь от г. Ржев аж до г. Кенигсберга у Восточной Пруссии, до Балтийского моря, и нигде больше я не видел такой территории земли, чтобы так была полита кровью, усеяна трупами людей, как Ржевская земля. Об этом нужно помнить, знать и никогда не забывать.

Дубина Иван Трофимович".

* * *

"В боях за освобождение Ржева погибли все командиры стрелковых рот и взводов. Тяжело были ранены командир 965 сп майор Ковердяев, комиссар полка батальонный комиссар Грушин.

Я дошел до Берлина, но равных боев, которые были под Ржевом, не было.

Майор запаса Поплавский, бывший помнач штаба 965-й сп".

* * *

"Дорогие товарищи, разрешите вас уведомить, что я гр-н участник Отечественной войны Советской Армии, служил в стрелковой дивизии 274-й и был на передовой линии под городом Ржевом, стояли в обороне на бывшем старом аэродроме возле реки Волги и задерживали натиск врага и делали натиск на врага до 3 марта 1943 года. А в 8 час. пошли в наступление через реку Волгу освобождать Ржев.

…Миня интересует такой вопрос, проживают кто-нибудь из граждан, каких мы освободили из церкви в гор. Ржеве, то пусть не поставят в труд сообщить мне, как ихняя сложилась жизнь в дальнейшем после нашего их освобождения, по нижеследующему адресу: Калининская область, гор. Белый, ул. Коллективная, дом № 6, Иванову Василию Никитичу, дорогие товарищи жду с нетерпением ваши отзовы.

Сотоварищевским приветом я инвалид отечественной войны к вам: Иванов. 2.11.1966 года".

4

Банкетные столы были составлены, как водится, буквой "П". И на главных местах — "отцы города", руководство обкома, генералы.

— За тех, кто мужественно сражался и пал на ржевской земле. <201>

Мы выпили стоя, в тишине, и в какой раз за эти дни дрогнуло во мне, отозвалось горьким волнением.

— За воинов — освободителей города.

— Старинный верхневолжский город… Город, стоящий на перекрестке истории… — начал свой тост секретарь обкома. — Он долгое время был точкой приложения военных сил… Выпала честь защищать подступы к Москве… Ржевская исконно русская земля прославилась ратными и трудовыми подвигами… Ржев вернул славу крупного железнодорожного узла страны…

За ним поднимались другие. Напротив наискосок — Георгий Иванович Земсков. Глаза то прячутся за тугими скулами, то при малейшем наклоне головы — открыты. И вижу — он-то весь

бугрится, не прилаживается к громкому застолью. С ним рядом — Черновский, бывший председатель горисполкома. Треугольник лица, погашенного, иссиня-черного. А ведь еще недавно он выглядел по-другому. В прежние приезды в Ржев я заходила к нему в горисполком. Он слыл среди населения человеком, преданным городу. Ему верили: Но случилось — влюбился. Жена пожаловалась в обком. Его сняли, отозвали в Калинин, взыскали за "аморалку" и доверили лишь областное курортное управление. Ни любимого города, ни дела, ни той женщины. Разлученный, порушенный человек. Инфаркт. Он взял слово, поднявшись. Подрагивал бокал в руке.

— …Были одинокие трубы буржуек, торчащие из земли. Вот что лишь было… Низкий поклон тем, кто, не щадя себя, в тяжелейших условиях поднимал из руин город…

И голос немного вибрировал, и, может, оттого смолкла брякотня ножами, вилками, слушали в тишине. Он закончил, неожиданно срываясь в восклицание:

— Да значит же что-то немалое Ржев для людей, если его именем называются! — И сел, не глянув в мою сторону, хотя меня он имел в виду.

Заиграл оркестр. Вышла из-за стола жена почетного гражданина города — для многих здесь он Ваня, Ванюша, коренной ржевитянин, и родня вся здесь. А он — Герой Советского Союза, генерал в штабе Ленинградского военного округа. Прибыл на праздник, бодрый, красивый, свой. Нарядная, броская женщина, она, раскинув руки, скользнула в танце на пустую середину зала, <202> сколотые слегка на затылке волосы распались по спине. И она здесь своя, Тома. Когда-то сюда, на отбитое у врага пепелище, юный комбат свез к матери свою беременную подружку, санинструктора, и ушел воевать на запад. Прижилась.

Выходили танцевать пары, потанцуют и вернутся к столу. А она неуемно, расточительно отдавалась собственному танцу, пластично, словно бы в дреме, а то вдруг порывисто, и выделялась несообразностью сольного номера, красиво сидящим на ней костюмом, статностью и не усмиренным годами азартом гульбы.

Земскова уже не было на месте, я не заметила, как он поднялся, ушел. Оркестр играл, и все больше людей танцевало.

— А мы? — спросил мой сосед.

— Не, — я покачала головой.

Я вспомнила: Мазин писал, как в первую весну освобождения на танцплощадке среди развалин молодежь до упаду танцевала. Но то все другое, все другое.

— Так не будем танцевать? — Лицо у соседа твердое, ноздрястое, черные щетинистые брови в пол-лба. Ну цыган.

— Не будем.

От звуков вальса, круженья пар я сильнее чувствовала сдавленность в груди. Ржев — непроходящая боль. Не отвяжется.

Явились в зал пионеры в белых рубашках и кумачовых галстуках. Оркестр смолк. Тома рухнула на стул. Ребята под аккордеон исполнили настойчивым речитативом:

Именем жизни клянемся:
То, что отцы не достроили,
Достроим мы.
То, что отцы не допели,
Мы допоем.

Мой сосед усмехнулся, шевельнул щетинистыми бровями.

— Выходит, нам пора уступать? — спросила я.

И мы рассмеялись, освобождая места за столом пионерам.

Глава восьмая

1

"И окоп свой солдату никак не сыскать"…

Так оно и есть. Но только в пределах городских окраин. А подальше, где весной на опушках тихих рощ заливаются соловьи и повсюду нежно цветут ландыши, где на замерших улицах спаленных войной деревень, безвозвратно погашенных вековых человеческих очагов, бойко налаживается тощий березняк, и на заброшенные поля, прежде ржаные, пшеничные, льняные и клеверные, наступает лес, и лиловеют острова вереска, и он кустится еще и по моховым здесь болотам, и густыми зарослями в сосновых борах, где на полянках у пеньков и под листочками иван-чая присыпано земляникой, и на холмах и на склонах частых здесь оврагов — везде незарубцевавшаяся земля. В этом завораживающем красотой мире того гляди ухнешь в заросшую кустарником траншею, то нарвешься на колючую проволоку или свалишься в воронку, оступишься в мелкий солдатский окопчик с выпроставшейся со дна молодой ольхой. Так что солдату тут свой окоп пока что еще сыскать можно. Поверх в траве — простреленные каски, осколки ржавого металла, мины, необезвреженные тоже. А копнет лопата, резанет плуг — покажутся кости убитых. На них — вся здешняя земля.

Юными паломниками на места нашей боевой славы предводительствует в Ржеве клуб туристов "Компас". К нему обращаются издалека то с просьбой разыскать могилу погибшего здесь на фронте отца, мужа, брата, то разузнать адрес пощаженного войной однополчанина. Председатель клуба, молодой энергичный паренек, и сам шлет во все концы любознательные запросы о том о сем, иной раз и докучливые.

"Здравствуйте, товарищ председатель Столяров! — отвечает ему Л. Берсенев из Харькова. — Письмо я Ваше получил, на которое сразу же даю ответ. Вы интересуетесь нашим ржевским партизанским отрядом… Отряд наш немцам делал большую неприятность, они за нами охотились, как кошка за мышем…

Дорогой тов. Столяров, мы песни тогда не пели, разговаривали вполголоса. Не было даже возможности побриться, потому что ни у кого не было бритвы. Мне <204> тогда было еще 17 с половиной лет, но я был похож на старика. Вот наш тов. Громов, командир отряда, ругал нас за то, что нечем было бриться, говорит, немцы уже знали, если не брит, значит, партизан.

На этом заканчиваю. С большой просьбой разыскать Яковлева

Василия Ник., с которым мы остались вдвоем со всего отряда живы.

Привет Вашему клубу и всем путешественникам".

2

Путешественники — юные туристы, следопыты, отыскивающие захоронения воинов, паломники по местам отшумевших боев, — уйдут в походы, когда сойдет снег и земля подсохнет.

А сейчас все еще зимний день начала марта. В воздухе кружатся легкие снежинки. Из-за белесой пелены вырываются и стелются по небу длинные рыжие лучи. Дышится глубоко, полно. Мы с Земсковым отправляемся к неведомому здешним следопытам объекту. Промятой в снегу тропкой спускаемся по крутому склону к Волге. Вислоухая озабоченная собака с прижатым хвостом обогнала нас. Снизу навстречу тяжело поднималась пожилая женщина с багровым лицом, в теплом платке и плюшевом ватном жакете, несла на коромысле бельевые корзины со скрученным в жгуты, мокрым, подмерзшим бельем. Истая ржевитянка не посчитает белье выстиранным, без того чтоб не выполоскать его в Волге, а зимой так в проруби.

Георгий Иванович пригнулся, закатал одну и другую штанины. Мы сошли с тропки, и он повел в обход больших сугробов, оступаясь в снег на ослабевшем насте. Я в сапогах за ним — в его след. Он остановился, обернувшись, попросил с натугой, чтоб обождала здесь, не шла дальше, — как бы не заплутал! Он был настойчив и растерян. Пошел вниз, неуклюже ковыляя, не выбирая, куда ступить понадежнее, топя ноги в снегу и с трудом выворачивая. Какое-то еще время он был виден, потом скрылся с глаз. Отыщется ли то, что так важно его памяти?

Было тут совсем безлюдно. Небойкий городской гул остался где-то наверху, над нами. Все еще кружило редкие снежинки, а молоденькие деревца, вставшие здесь по склону берега взамен старых, истребленных войной, <205> пошатывало, и взмахами легких голых ветвей они, стряхивая снег, словно отбивались от порывов ветра, отстаивая себя.

Застряв на месте в невнятности ожидания, я вдруг почти что мистически ощутила, как перетекает время, то, давнее, в это, нынешнее, а может, и наоборот. Но только единым потоком оно неукротимо устремляется к какому-то неизбежному итогу и ухнет в неразличимую косматость, что зовется то ли вечностью, то ли небытием. Этот внезапно настигающий удар, разверзший бездну, я испытала первый раз еще в юности и потом подвергалась его беспощадности, но только не на фронте, там реальность смерти разгоняла всякие фантазии на ее счет. И вот сейчас вдруг…

Может, зря вызвалась пойти с Земсковым за его прошлым. Очертить бы меловой круг, замкнуться в нем, не впускать ни духов воспоминания, ни лютую косматость без образа, без подобия чему бы то ни было. Быть. Ни в том, ни в этом, ни в неизбежном конечном времени, а только сейчас быть. В этот миг жизни.

Послышалось, Георгий Иванович звал меня. Он показался из-за сугроба, энергично поманил рукой, и меня вытолкнуло из оцепенения, я засуетилась, задвигалась и с готовностью пошла, пошла вниз по склону берега, ухая по край голенища в снег, вырываясь из наваждения.

Георгий Иванович дышал натужно, будто поднялся на гору, а не вниз спустился. Лицо его налилось бурым цветом от волнения. Я опять шла за ним, видела его круглую спину в темно-сером драповом пальто и побуревший загривок под низко насаженной на голову черной меховой шапкой и чувствовала — его сковало волнение. Привел. Из-под снега торчали на весу концы бревен, завалившихся люк. Тут, у самой Волги, под обрывом, была взорванная водокачка, от нее под землей отходил туннель. В этом туннеле Земсков с товарищами, бежав из лагеря, скрывались семнадцать суток до прихода Красной Армии.

Георгий Иванович снял шапку, вытер скомканным платком вспотевший лоб, пересеченный рубцом от шапки, и снова надел ее. Хотел заговорить, но перехватило горло, махнул большой ладонью. Это потом, вспоминая, как, не надеясь уже найти, нашел этот заваленный спуск в туннель, как немного посбивал башмаком снег, <206> как мы с ним стояли тут, скажет о себе: "Ведь при всей сдержанности пробили слезы".

Здесь был последний рубеж пережитого. И какой! Отодвинулось все: взорванный немецкий состав с боеприпасами, когда, работая на разгрузке под бомбежкой, подпольщики находчиво качнули по рельсам стоявший отдельно на путях загоревшийся вагон — и прямо на тот состав; и смертный приговор изменнику, выходившему на передний край агитировать красноармейцев сдаваться в плен, суля райские условия лагеря; порезанная связь врага, война с немецкой лагерной охраной, с палачами; и советские листовки, тайно проносимые в лагерь, когда выходил за проволоку к больным; и поддержка духа у отчаявшихся, обессилевших; и каждодневная его упорная агитация среди пленных не идти во власовцы; и лечебная помощь им какая только возможна; и тайные заседания впятером в темной полуразвалившейся землянке при коптилке — подпольной группы, верных товарищей, готовых с ним бороться и умереть.

Все захлестнуло сейчас хлынувшим светом — Ефросинья Кузьминична Богданова!

Мы стояли у самой Волги. На протолоченных по белой зимней реке тропинках возникали черные движущиеся точки — пешеходы. Женщина везла на санках ребенка. На том берегу неподвижны лошадь, крестьянские сани, оставленные возчиком.

Я спросила:

— Какая она из себя?

Георгий Иванович светло, как двадцать пять лет назад, взглянул на меня.

— Вы о Ефросинье Кузьминичне? Очень обаятельная женщина, мать троих детей. И с прекрасной открытой душой.

Он все оглядывался, не смиряясь, что нет тут, над нами, над водокачкой, заветного домика, где жила семья Богдановых, ведь тогда-то уцелел он, а все же куда-то подевался, может, растащен. И с расстроенной волнением душой опять и опять вглядывался, не возникнет ли по волшебству тот домик среди обметанных снегом деревьев и кустов, и опять молча смотрел на Волгу, и если заговаривал, то охотнее о чем-либо попутном, незначащем, подавляя волнение.

— Там (это в тогдашнем Ржеве) была одна старая-старая <207> сивая лошаденка, чья уж она, кажется, главы города, она чуть идет, а все-таки лошадь, — говорил, заметив на том берегу лошадь, впряженную в сани. — Одна только во всем городе оставалась. Нечем кормить ее. Солому находили, а с соломы жить не будет. Я даже не знаю ее последствия, этой лошади.

А того, что сейчас накатило, взбудоражило, не касался. Но в другое время он мне рассказывал об этом, и я перескажу здесь, пока мы стоим молча и доносится в тишине перестук колес на железной дороге. Георгий Иванович греет руки в карманах пальто, никаких снежинок нет больше, в воздухе едва уловимо, а в небе отчетливее разлит сиреневый свет, какой бывает только в эти дни года.

3

Однажды на территорию лагеря удалось пройти какому-то гражданскому человеку. В городе не было врачей, и он добился разрешения обратиться за помощью к военнопленному доктору, страдая зубной болью. Удалить зуб было нечем, инструментов не было. Георгий Иванович обработал дупло, заложил болеутоляющее. Незнакомец поблагодарил, не спешил уходить, дождался, когда полицай вышел из сарая, где был медпункт, стал спрашивать: "Как вы здесь?" — "Как сами видите". Тот достал из кармана, протянул пачку махорки, сказал: постарается еще прийти. И чем-нибудь помочь. А если что на уме, располагайте,

мол. Георгий Иванович разговаривал осмотрительно, упирал на нужду в медикаментах и что без инструментов плохо. И все.

Тот кратенько рассказал о себе, кто он есть, где живет и чем занимается. Он, Богданов Илларион Игнатьевич, до войны был механиком на водокачке городской, там и живет, рядом с водокачкой. Теперь немцы заставили его обжигать древесный уголь.

Земсков отнес товарищам махорку — сам некурящий, — поделился таким нерядовым событием, но и смутным впечатлением от пришельца извне. Можно ли довериться, не прощупывает ли их, не опасен ли. А ведь как нужна была связь за пределами лагеря, в городе.

Через неделю Богданов снова пришел, добившись пропуска в лагерь и разрешения, чтобы врач на дому осмотрел его тяжело заболевшую дочку.

Сунули немца-конвоира — сопровождать. Пошли. <208>

Конвоир остался на улице, в дом, где больная, войти не решился. Немцы боялись тифа. Георгий Иванович прошел за Богдановым через сени в квартиру и тут увидел его жену — Ефросинью Кузьминичну.

Встречаются такие лица у русских женщин, что взглянешь — и весь без остатка доверишься. Такое лицо было у Ефросиньи Кузьминичны.

Девочка Богдановых, звали ее Лиза, тяжело болела воспалением легких, и Земсков навещал ее под конвоем. Дом был на краю города, около разрушенной водокачки, вот тут, под крутым берегом, у самой Волги.

С того первого дня, как увидел Ефросинью Кузьминичну, "расположился доверием", началась дружба, поделился не таясь, начистоту. Богдановы стали помогать подпольщикам и чем могли съестным, и сведениями о положении на фронтах, передавали листовки, которые над городом сбрасывали советские самолеты.

Передали за проволоку листовку о разгроме немецких войск под Сталинградом.

— Мы пустили ее по верным рукам, содержание ее молниеносно стало известно всему лагерю. Нельзя себе представить, как радовались пленные, это было неописуемое торжество, лагерь ожил как никогда. Полицейские чувствовали себя над пропастью, приготовленной самим себе, немцы взрывали все в городе. Мы понимали, что они уйдут, но ведь угонят лагерь. Необходимо бежать. Но где найти человека, который с риском для жизни согласился бы спрятать, приютить нас?..

Но в одно из посещений Богдановых Ефросинья Кузьминична сама сказала: "Мы говорили с мужем и решили: если вам нужно

будет сделать побег, мы вас скроем".

Я спросил: "А если нас несколько человек придет?"

"Ну что ж, что-нибудь сделаем".

Искренность их была настолько велика, они готовы были разделить с нами все.

Уже стали вывозить пленных в неизвестном направлении. В землянку к нам пришел переводчик за мной и Михаилом Щекиным, фельдшером, моим первым помощником по подпольной работе, — вызывает комендант лагеря. Пришли мы в комендатуру, нас встретил немец-комендант, высокий и худой, приблизился к нам, как лиса к жертве, сказал переводчику несколько слов. Содержание сказанного мы поняли, но молчим. Переводчик <209> передал, что освободительная русская армия нуждается в медицинских специалистах, вы как хирург ей очень нужны, вам и вашему фельдшеру надлежит немедленно написать заявление о добровольном вступлении в освободительную армию. Кончив, переводчик ждал ответа. Я понял все и отвечаю: "Я русский человек, к тому же пожилой (к этому времени я отпустил такую бороду, что мне можно было дать лет шестьдесят), воевать против русских, своих братьев, не буду". Комендант, выслушав перевод, взбесился, начал кричать. Переводчик обратился к Щекину, стоявшему позади меня. "Вот как старший ответил, я тоже так скажу, как он". Это дословно его ответ. И добавил: "Притом я чуть хожу после болезни". Это верно, Щекин чуть двигался после тифа, а вернее сказать — ходить не мог. Из комендатуры нас с угрозой выгнали. Нужно принимать меры к побегу. Но что делать с Михаилом Щекиным, он бежать не может, очень слаб, увязнет и не вылезет из снега, одежда плохая, замерзнет, вернее, погибнет от холода.

Вечером этого же дня Георгия Ивановича вызвал полицейский Курганов. Это в тот раз он и спросил: "Когда ты убежишь?" И испугал своим вопросом: значит, просочилось к нему о подготавливаемом побеге. Положение казалось угрожающим.

Лагерь по углам и по территории охраняли немцы в белых тулупах.

Ночь оказалась хорошей, укрыла от глаз охраны. В одном месте разъединили проволоку. Земсков с товарищами ушли ночью, в пургу, когда трудно было что-нибудь впереди себя увидеть.

Ушли трое, двое остались. Остался Щекин, которого нельзя было взять с собой. Он еще не оправился от тифа. Остался Миша Смирнов, он заявил, что возьмет на себя заботу о сохранении Щекина.

— Пришли мы к Богдановым. Илларион Игнатьевич укрыл

нас во взорванной немцами водокачке, в туннеле главного отвода. Ефросинья Кузьминична выстирала наше белье. Кормили нас они раз в сутки. Принесут нам ночью, в метель, чтобы след замело, в ведре что-то горячее, чем сами располагали, опустят, мы были очень довольные. Туннель отходил в гору. Тут и главная канализационная труба, и водонапорные трубы. Там, в глубине, мы были. Кое-какие продукты были заготовлены, <210> но холод в туннеле страшенный. Всякое рунье они нам дали. И земля в глубине какое-то тепло дает. Что делать — так на холоде и были.

Полиция и немцы разыскивали повсюду беглецов. К Богдановым был подослан служивший в немецкой комендатуре изменник и провокатор Алмазов, от которого страдал и содрогался весь город. Ничего не добившись, он привел немцев, и начал допрос. Даже маленькую девочку спрашивали: "А может, ты, девочка, видела этого дядю, что приходил лечить тебя?" Но и она ничего не сказала. Алмазов жил поблизости от Богдановых, он знал про это убежище под водокачкой, там семья Богдановых пряталась от бомбежки. И он после обыска в доме повел немцев на водокачку. Богдановы сказали, что водокачка минирована, и немцы не полезли.

— Жизнь в подземелье для нас и для Богдановых на поверхности была связана каждую минуту со смертью. Удивительно было мужество этих людей — пойти на это, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью детей. Они знали, что им грозит расстрел. Видимо, такой силы была обида на захватчиков, что все силы, чтобы помочь, отдали. Они не могли думать о своей участи, видя такие муки всех. Я скажу, что, кроме кучки негодяев, весь народ наш стойкий. Это и дало победу. Ведь всегда поделятся последним, хоть детей полно — вы сами говорили, — а это большой пример.

Спустя три дня настигла беда. Немцы насильно угоняли население из Ржева. Объявлен приказ: кто останется в городе — расстрел. Илларион Игнатьевич Богданов — он спустился с тяжелой вестью по ступенькам вниз, в туннель, к нижнему люку, который выходил к Волге, — сказал: "Только что ушли полицейские. "Если вы с семьей не придете в такой-то час на площадь, расстреляем вас с семьей всей". Мы вынуждены уходить… Мы вам оставим что можем…"

— И мы остались в промерзшем туннеле в плачевном состоянии, или, вернее, обреченном.

4

На площади мужчин отделили от женщин и детей, погнали двумя группами.

Ефросинья Кузьминична только до леса дошла, успела <211> сказать мужу: "Я вернусь, там люди погибнут". Он одобрил. "Я сбегу, вернусь. Ждите дома".

Ефросинья Кузьминична со старшим сыном Митей, тринадцати лет, везя на санках больную дочку шести лет и младшего мальчика, мужественно повернула назад к дому, шла на немецкие заслоны с одним паролем: "Киндер кранке!" ("Дети больны!") Пропустили. Но дальше в городе пробирались скрытно знакомыми дворами. Пришли к себе домой ночью, дала знать "узникам" — вернулась, они не оставлены. Ждала Иллариона Игнатьевича с часу на час. Но не дождалась — не вернулся. Одна с тремя детьми и с тремя беглецами в подземелье. Кругом белая пустыня, все занесено снегом. Высунуться на улицу страшно. Приказ: кого из жителей обнаружат в городе — расстреливать на месте. Ефросинья Кузьминична от всех этих переживаний совсем ослабела. Заботиться о пропитании всех пришлось старшему мальчику, подростку Мите.

От водокачки он пробирался траншеями до того места, где раньше был детсад, а дальше ползком к помойкам. Рылся в отбросах немецкой кухни. И однажды его схватил немец, офицер, подтащил к стенке, навел на него пистолет. Но в этот миг разорвался шрапнельный снаряд. Вскрикнув: "Катуша"!" — немец повалился на землю. "Катюши" наводили панику на немцев. И хотя то не она ударила, Мите удалось скрыться, пока немец опомнился от испуга.

Как-то раз Митя долго отсутствовал, и встревоженная Ефросинья Кузьминична, заперев детей, навесив снаружи замок, пошла его искать. В ее отсутствие полицейский сбил замок, увидев детей, спросил: "Где матка?" Девочка ответила, что не знает. Полицейский предупредил шестилетнюю, что если в следующий раз их застанет, перестреляет. "Так и скажи матке".

С того раза, когда она сказала военнопленному доктору, лечившему ее дочку: "Если вам будет нужно сделать побег, мы вас скроем", ее детей вместе с ней каждый миг подстерегала гибель. День тянулся бесконечно. Только нарастающий гул наступления наших войск пробуждал в душе надежду.

Ефросинья Кузьминична делилась с "узниками" последним и, когда ночью носила им ведро с болтушкой, выходила через окно по доскам, чтобы не остался след. Митя стоял на страже. <212>

А немцы усилили поиски сбежавших военнопленных. Опять подключился Алмазов, немецкая ищейка; он выслеживал, предавал. На нем кровь многих ржевитян. Это тот самый Алмазов, я его потом видела, после освобождения города, задержанного, в доме бургомистра в те минуты, когда его узнал брат.

Явившись снова к Ефросинье Кузьминичне, приступил: "Слышала, что из лагеря пленных сбежал тот врач, что лечил вашу дочку? Это хорошо. А то у меня от партизан есть задание доставить им этого врача, они очень нуждаются, много раненых. Как найти его? Может, знаете, где он?" — "Пошел ты к черту со своим доктором!" — "Может, он придет к вам, ведь вы не заплатили ему за лечение, а он теперь нуждается…"

Ефросинья Кузьминична на хитрость этого предателя ответила, что знать не знает, не до этих беглецов, да еще какая может быть плата, заплатить нечем, в семье горе, угнали от детей отца, кормить их нечем.

Алмазов на этом не успокоился, подсылал свою дочку выведать у Лизы, дочки Ефросиньи Кузьминичны. Маленькая Лиза ничего той не сказала.

— Вот в какой опасности находились они. Можно ли забыть своих спасителей! Преданность этих людей настолько велика, что они взяли на себя ответственность укрыть у себя сбежавших пленных, не испугались, для них всякие угрозы и смерть не страшны. Такие это люди.

Такой он, Земсков, человек. Крепкой, неразменной жизни. В самых пагубных для жизни обстоятельствах он выпрямлял людей, заражал силой духа. Существуя под игом насилия, встретившись с Земсковым, такие люди обретали страсть к добру.

И, стоя с ним на берегу у люка разрушенной водокачки, я снова чувствовала пафос жизни, нераспад ее и верность, без них нет для меня ни полноты жизни, ни смысла, ни поэзии.

5

"Здравствуйте, уважаемый Георгий Иванович! Я вполне уверен в том, что Вы не знаете, от кого получили письмо. Навряд ли вспомнишь мальчишку, которому в 1943 г. было каких-нибудь 13 лет, а с тех пор прошло уже 12 лет. Однако я каждый год, отмечая 3-е марта, <213> вспоминаю Вас. Так и должно быть: хороших людей всегда вспоминают добрым словом. Когда-то Вы оставили нашей семье свой адрес, который затерялся. Я помнил, что до войны Вы жили в Ташкенте, и поэтому решил разыскать Вас, узнав через адресный стол адрес. Знаете, меня очень интересует судьба людей, которых я встречал в те суровые дни и которым оказывал скромную помощь в борьбе с врагом. Да, я пишу, а возможно, Вы еще не вспомнили, где и когда это было. Это было в г. Ржеве. На берегу Волги стоял домик. Думаю, все стало ясно. Знаете, Георгий Иванович, я до сих пор не знаю, как Вы попали к нам. Знаю только, что Вы спасли моей сестре жизнь, и очень благодарен Вам. Возможно, Вас немного интересует судьба нашей семьи".

Этот звонкий голос в письме принадлежит сыну Ефросиньи Кузьминичны Мите.

Георгий Иванович приложил немало труда, чтобы разыскать своих спасителей, но все было тщетно до получения этого письма.

Семья осталась надолго без отца, ничего о нем не зная. Когда Иллариона Игнатьевича угнали, он бежал, чтобы вернуться в Ржев, но был тяжело ранен. Его подобрали жители и укрывали до прихода наших частей. Только через год он разыскал семью, и Ефросинья Кузьминична перебралась с детьми в Оршу, где Иллариона Игнатьевича оставили восстанавливать водоснабжение.

Безвестные герои, они поступали самоотреченно, не помышляя о признании. Вот и в письмах их сын Дмитрий спустя столько лет благодарит за спасенную сестру и ни слова об опасности, какой подвергалась семья Богдановых, спасая бежавших пленных.

"Я после школы поступил в военно-морское училище, которое должен в этом году окончить. Сестра окончила 10 классов, брат учится в 9-м, отец работает в водоснабжении, мать по хозяйству. Мать и отец тоже часто вспоминают Вас, Георгий Иванович! Я бы очень хотел, если это не затруднит Вас, чтобы Вы написали подробно о себе все, что сможете: куда Вы уехали от нас, ведь Вы же были ранены, когда вернулись домой, где работаете сейчас, напишите о своей семье".

* * *

Через несколько лет, отвечая на присланный из Ржева запрос, он писал:

"...И вот 2 марта 1943 г. Весь вечер и ночь немцы <214> отступали. Взорвали мост через Волгу. Сплошное море огня. Мы с матерью стояли на окне и смотрели на сполохи и зарево огней. "Может, уйдем в туннель, сынок?" — говорит мать, а я как старший принимаю решение остаться "наверху". К утру все стихло. Обычно мать топила печь, чтобы не было видно дыма, еще до рассвета, а я караулил, как бы кто не пришел. И вдруг я вижу — за окном промелькнули фигуры. Мелькнула мысль, — видимо, в последний раз немцы пришли, а может, провокаторы, которые появлялись не однажды. Медленно открылась дверь. На меня уставилось дуло автомата. Жить осталось недолго. Медленно поднимаю голову и под маскхалатом вижу нашу родную красную звездочку. Кричу: "Мам, наши пришли!" Мать лежала в постели (она видела, как под окном промелькнули

фигуры, и поспешно легла, будто больная), а перед ней, как всегда, куча пузырьков с "лекарствами". Она хотела встать, но ноги подкосились. Как позже выяснилось, это были наши разведчики. Они сказали: "Ничего, мамаша, наши пришли", а "мамаше" было… 32 года. Действительно, выглядела она старухой. Когда ушли наши разведчики, мать говорит: "Смотри не говори, кто у нас спрятан, а то, может, опять какие проходимцы".

Вышел на улицу, и надо же быть такому кощунству: на доме Алмазова висит красный флаг. С Ржева через Волгу двинулись наши войска, остановился штаб, т. к. все в городе было минировано. Вылезли наши узники. Это незабываемая картина. Взрослые мужчины, поросшие щетиной, плачут и целуются с солдатами. После этого Георгий Ив. пошел с нач. штаба в город за какими-то документами, которые были им спрятаны, попали на мину, Георгий Ив. был ранен, лежал у нас. Наши войска продолжали наступление. В это время откуда-то появился Алмазов, он, конечно, не ожидал, что кто-то остался в живых. По старой полицейской привычке зашел в комнату и спросил: "А это кто у вас лежит?" Георгий Иванович ответил: "Алмазов, твое время окончилось". После этого Алмазов, говорили, исчез из города. Дальнейшая судьба Георгия Ивановича и остальных вам известна… Много пережито, многое видено, но ничто не забыто. И может, многие помнят погибших, кто остался жив. Конечно, хотелось бы узнать о людях, в какой-то мере соприкасавшихся <215> с ржевитянами, находившимися между двух огней".

— Мертвый, казалось, город, — вспоминает Земсков. — Глухой. А душа человеческая теплится.

* * *

Я не видела Ефросинью Кузьминичну. А в архивном деле только ее слабый, неверный след. Упоминается она в связи с Алмазовым.

"Вопрос к Богдановой Ефросинье Кузьминичне:

Что Вам известно об Алмазове?

Ответ — Алмазов работал в городской комендатуре, но не знаю, кем там он являлся.

Алмазов пользовался у немцев большим авторитетом и с местным населением делал, что хотел. Он ходил на базар и отбирал там у населения продукты и вещи. Вместе с немцами производил аресты мирных жителей, выполнял их задания. Немцы за это ему щедро платили. Он имел скот, лошадь и много хлеба, постоянно был пьян, несколько раз показывал нам золотые

часы, золотую цепочку с золотым крестом, имел он золотые монеты старой чеканки. Где он их брал, мне неизвестно. Он часто называл нас дураками и говорил, что он при германской власти живет хорошо, пьет водку и ест досыта хлеба. Будет советская власть, он тоже будет водку пить".

Протокольная запись? Всего-то? Это кто не знает, что на листочке том свело свет и тьму, величие и низость.

6

Ржев. Поезда из Москвы, Риги встречает плакат: "Слава освободителям Ржева!" Здесь, неподалеку от путей, на месте довоенных складов заготзерна, была зона лагеря военнопленных площадью в квадратный километр. Сейчас здесь хлебоприемный пункт и будет мелькомбинат. Тощий, строгий, добросовестный начальник охраны Михаил Иванович водит меня по территории. Если тут были какие землянки пленных, давно завалились, поскольку деревяшки все выбрали, сейчас следов их нет. Типовые склады заготзерна, довоенные — тесовые, крытые толем, — их не осталось. Сейчас иные. Один вон похож, но под шифером. Из тех, кто помнит, <216> как тут было, женщина — ржевская, воду сюда, в лагерь, возила. Ближайший спуск к Волге — возле Казанского кладбища — больше километра. Везет бочку воды, заберет одного пленного, пристроит к себе или к кому еще, переоденет. Возила, пока ее не заметили полицейские, схватили. Она выжила, она и сейчас где-то возле Итомлина, слышал Михаил Иванович. Когда рыли траншеи для кабеля здесь, наткнулись на кости, башмаки. Копать стали водоем для противопожарных целей — кости, кости…

Стоим молча. Я пришла сюда одна, без Земскова, он уехал — ему пора было на работу, на занятия в медицинское училище. Озираюсь в душевном оцепенении на этом трагическом, страшном клочке земли. Ничто не свидетельствует о том, что здесь было.

Деятельные гудки паровозов. Возгласы мальчишек, на коньках гоняющих клюшками шайбу. Скворечники на шестах и деревьях. Веселые деревянные домики. Жизнь. Но почему же в городе, где так чтут память о пережитом в войну, жизнь беспамятна к этой земле, вобравшей немыслимые страдания тысяч погребенных здесь людей? Я вспомнила, как в своем проклинании умершего предателя и палача подпольщики в лагере — а вернее всего, сам Земсков — писали, что могила его "чертополохом и бурьяном зарастет". "Тебя, предатель ненавистный, народ не вспомнит, друзей у тебя нет". И с какой верой писались бесхитростные эти слова: "Мы погибаем за Родину, общее дело, в братской могиле обретем мы уют. Народ

найдет к нам дорогу, на могилу друзья придут, венок положат, цветы посадят, в книгу Почета занесут".

А мы? Бог мой, ни обелиска, ни цветка, ни вздоха скорби, ни долга. Ведь так душа нашей памяти чертополохом зарастет.

Мы чтим героев ратного подвига, а память о мучениках, жертвах порой бестрепетно отторгнута, сокрушая нравственность и благородство, обедняя отечественную историю.

Здесь, в земле, погребены верные сыновья отечества, непримиримые к врагу, избравшие мученическую смерть, не отступив, отвергнув избавление от мук ценой предательства, страдальцы и подвижники духа, жертвы фашистского злодейства. <217>

7

Уже подходило к концу это повествование, когда писатель Вячеслав Кондратьев, зная, о чем я пишу, передал мне страницы рукописи, присланной ему незадолго до своей смерти бывшей разведчицей Анастасией Ивановной Кольцовой. В группе разведчиц она переходила линию фронта на нашем участке. Девушки были схвачены немцами и брошены в лагерь военнопленных в Ржеве.

Она пишет:

"Когда меня вернули после тифа в основной лагерь, там уже был новый полицейский, Иван Курганов, я его хорошо запомнила, смуглый, похожий на восточного уроженца, высокий, подтянутый, голос сиплый. Вскоре он начал посещать наш барак и в основном подходил и задерживался в нашем углу, где мы, знавшие друг друга, держались отдельно.

Но разговор у нас не получался. Больше говорил Курганов. Рассказывал о положении на фронтах, о том, что вчера наши танки ворвались в город Ржев, но были отбиты. Больше всего удивляло то, что это была правда, которую подтверждали и подпольные листовки. Курганов сам иногда приносил нам листовки, принес однажды и газету "Правда". Нашу, советскую, настоящую "Правду"!

Вопрос вставал: кто же он, Курганов?

Слушая его, принимая от него листовки, старались показать полное безразличие ко всему этому, а когда он уходил, мы тайно от других с жадностью читали листовки, обсуждали и плакали. Плакали слезами радости и надежды. Позже он стал нам передавать и пищу, иногда это было полбуханки эрзац-хлеба, иногда это был котелок перловой или гороховой каши. Все это делилось между своими девчатами по горсточке. Чувствовалось, что Курганов окружил себя доверенными людьми. Другие женщины, арестованные по неизвестным нам причинам, косились

на нас за связь с полицейским, но нас связывало с ним то главное, чего они не могли знать, — духовная поддержка через листовки и другие источники о положении на фронтах.

Кроме того, нам очень хотелось раскрыть его: кто же он, Курганов?

Приходил Курганов к нам всегда вечером, когда немцы <218> из комендатуры уходили в город, там они жили. Однажды, уходя, он нам сказал:

"Ну, до свидания, девчата, пойду добровольцев лупить". Это так он называл "перебежчиков", для них был отдельный барак. "Вчера их бил".

Зато какая же злоба кипела у нас, когда приходилось видеть, как Курганов при встрече с комендантом лагеря, фашистским майором, приветствуя его, вздрогнув и вытянувшись в струнку, выбрасывал вперед руку со словами "хайль Гитлер!".

Ну гад, предатель, думали мы.

И ненавидели его, и искали пути больше узнать о нем.

Однажды, незадолго до эвакуации лагеря, Курганов нам сказал: "Завтра буду у своих, девчата". Мы начали просить его записать наши адреса и сообщить о нас, но он ответил, что о вас, девушки, будут знать где надо. Больше мы Курганова не видели, назавтра по лагерю прошел слух, что Курганов бежал, но схвачен фашистами и казнен".

А в конце рукописи такие строки:

"Иван Курганов, бывший полицай Ржевского концлагеря, после побега успешно вернулся в расположение наших войск, где продолжал нести службу.

В 1956 году умер вследствие перенесенных ранений".

Умер Курганов тремя годами раньше. Каким образом он "успешно" вернулся, я знаю. Но откуда известно разведчице о его дальнейшей судьбе?

Не спросишь. Ее нет в живых.

И. Васильев писал мне:

"Получил послужной список интересующего Вас человека. После лагеря он воевал, был тяжело ранен (1944 г.) и на фронт больше не вернулся. Значит, борьба в лагере ему была зачтена".

Что же зачли ему? В чем заключалась его борьба, многого мы не знаем.

Из писем Ф. С. Мазина.

"На противоположном от деревни Ножкина берегу Волги, ближе к Ржеву, была здесь фронтовая зона, население отсюда было выселено из этих деревень, и там стояли целые поля нескошенной роки, так вот жители Ржева, женщины, осенью 42 г. ходили туда и срезали со ржи колосья, приносили, обмолачивали

дома, мололи <219> муку. Несколько раз ходил с женщинами туда и я на этот сбор колосьев на поля около деревни Бурмусово. Если бы вот так взглянуть со стороны: фронтовая полоса, ржаное большое поле — что это за наступление, что это за странные люди в разноцветной одежде по всему полю? Около них проносятся со свистом и рвутся мины, взлетают фонтаны земли, люди перебегают, ложатся и опять встают. Но почему они не уходят с этого поля? Почему они никак не могут покинуть это поле?"

"Первое время в начале войны вот те немцы, которые тогда шли, были какие-то и ростом выше и сложением лучше, когда я впервые увидел немцев, создавалось впечатление, что как будто бы какое стадо гусей — в общем отборные. А потом уже не то совсем".

* * *

"Были немцы, которые, уезжая в Германию по ранению или еще почему, говорили гражданским, у которых они жили: "In Rußland ich noch werde nicht"[2] — "В Россию я больше не вернусь".

И тогда в Ржеве среди жителей была популярна такая поговорка: "Скоро все немцы: "Прощай, Русь, я к вам больше не вернусь".

* * *

"Так вот, в конце ноября 42 г. в Ржеве начался голод, немцы из города никого не выпускали, на дорогах стояли и ворачивали назад, кто пытался пройти в деревни и что-нибудь обменять на хлеб".

"Иногда вспоминаешь теперь, думаешь, какими гусями бросалось человечество, а после войны уже остается не то из мужского поколения. Какой-нибудь неважный мужчина, которому до войны цена 3 копейки, пользуясь положением, выходит за красивую женщину…"

* * *

"Продолжаю описание о Ржеве. Эшелоны жителей отправляют на запад в обязательном порядке. В январе 43 г. с последним

эшелоном поехали и мы. По одному нас выводили из церкви, где был сбор, около входа стоял немец полевой жандармерии с бляхой на груди, он доставал из ящика пакет с дустом, каждому высыпал <220> его за воротник. В теплушках многие дети пообморозились. Довезли нас до города Слуцка в Белоруссии и там началась сортировка, кого куда.

С 17 лет, если не ранен, отправляли в Германию. Я был ранен в ногу и попал в городскую больницу. Остальных — женщин с детьми, стариков — в лагерь для беженцев (так нас там называли). За колючей проволокой.

В больнице в первые дни ко мне подошел главврач-хирург и говорит: у тебя есть кто еще там, в лагере? Я говорю: у нас там умерла на днях мать и остались двое детей, девочка около четырех лет и братишка 14 лет. Он тогда позвал одного рыжего мужика-возчика, дал ему пропуск и еще какую-то бумажку, и он поехал туда, в лагерь. В этот же день он их привез из лагеря и здоровых поместил рядом с моей койкой. Так и жили они со мной до тех пор, пока у меня зажила нога, а фамилия этому врачу была Мурашко. Звали его там — доктор Мурашко. В этой больнице лежало много детей из Ржева, обмороженных во время переезда в товарном эшелоне. Относились к нам в этой больнице белорусы очень хорошо. Большое спасибо медсестрам, врачам и санитаркам, которые очень много сделали, спасая жизни детей. Спасибо доктору Мурашко".

* * *

"В войну Вы, конечно, видели, как Ржев разбит, и вот с 43 года на эти камни стали приезжать из разных мест жители Ржева. Где они жили, было намного лучше и жизнь налаженнее. А приезжали на голые камни и груды развалин и начинали строить все сначала. Если Вы были тогда в Ржеве, в 43 г., то наш, дом Вы. наверняка видели на нашей улице, недалеко от Казанского кладбища, потому что вокруг него все дома посшибало, даже маленькие, а он такой большой остался цел, лишь кое-где у карнизов поободрало тогда обшивку да на крыше порвало железные листы, а вокруг дома все изрыто тяжелыми снарядами и авиабомбами".

* * *

"Сестренку 4-летнюю мы не оставили в Белоруссии

просившим женщинам, привезли в Ржев — родственникам. А когда отец вернулся с войны, он женился и взял ее на воспитание.

В войну был случай, когда она босиком, в легоньком <221> платьице играла во дворе, рядом разорвался тяжелый фугасный снаряд. Я думал, что ее контузило и она вырастет какой-нибудь дурой. Но она выучилась и вот уже несколько лет работает эпидемиологом санэпидемстанции. Она третий раз замужем. Вот как бывает.

Я ее не осуждаю, пусть живет, как ей хочется, потому что в войну она осталась жива случайно, и я как вспоминаю, как я ее видел тогда летом в Ржеве стоящую на ногах в беленьком платьице и ужасно плачущую на фоне густого, черного, намного выше деревьев столба разорвавшегося снаряда и оседающих больших комьев земли, то, может быть, она в чем бывает виновата в своей семейной жизни, то, вспоминая это, какой кружащийся ад она перенесла в Ржеве, всякие осуждения ее с моей стороны отпадают. Пусть живет, как ей хочется. Пока все".

Глава девятая

1

Сейчас я ненадолго перемещусь из Ржева на запад… Город Коломыя. Вертикаль старой ратуши. Могучие каштаны. Истертый торец мостовой. Архитектурные пласты: дома австрийских времен с башенками, террасами, переходами, с балконом по всему периметру стен, стянутых угловым выступом, обращенным во внутренний двор; рациональных форм особняки — этот пласт более поздний, когда были под Польщиной, как говорят здесь; и новый пласт — коломыйские Черемушки.

Этот город — историческая столица Гуцульщины. Через год после освобождения Ржева, 23 марта 1944 года, Москва салютовала в честь освобождения Коломыи. Об этом памятная доска на доме горисполкома возле площади Героев. Памятник павшим в боях за Коломыю. Вечный огонь в память о безымянном солдате. В сквере ребятня играет в салки, оступаясь в чашу, где бьет огонь. Молчаливый парнишка подбрасывает наломанные веточки, как в костер, — хоть и вечный, но и вечно притягательный огонь.

За сквером — Советская улица. Здесь в четырехквартирном доме под номером 17 живет человек, ради встречи с которым я приехала сюда, в Коломыю.

Георгий Иванович вступал в освобожденную Коломыю с войсками — так далеко он ушел за год от Ржева <222> на запад. А потом и еще дальше. А вот окончательно осел здесь, вернувшись. Почему же? Ведь коренной волжанин, родом из-под Самары. Оказывается, в здешних местах, он пятнадцатилетним парнишкой прошел путь с бригадой Котовского.

— Я не ахти какой был вояка — молодой. Однако привыкал. Рвался к новой жизни. Отлучился из родного села, подался в добровольцы. Как только я первый раз увидел Котовского, я жил одухотворенный его видом, был сильный человек, бесстрашный, трудолюбивый. Когда он спал, я не знаю, он всегда первый появлялся. Вся бригада находилась под его волей, геройством… Командир второго полка нашего Макаренко, он был убит, и другие командиры — все эти люди были примером нам.

Мы сидим за столом, покрытым гуцульской домотканой скатертью, в скромно обставленной комнате, то одни, то в присутствии красавицы дочери и крупной, под стать Земскову, жены. Она помоложе его. В домашнем байковом платье с

оголенными выше локтя белыми, мягкими руками. Нехотя присматривается ко мне, желая что-то понять, что не податливо ей, и оттого насуплена. И может, связь Георгия Ивановича с прошлым, уводящая его от семьи, ей не по нраву.

Мы не виделись с Георгием Ивановичем два года, после юбилея во Ржеве. Мне показалось, он похудел, скулы немного опали, не заслоняли глаз. Ему уже за шестьдесят, но он крепок, и волосы с годами все темнее, не побиты сединой.

Он звал в письмах приехать, а вот приехала — и разговориться что-то мешает нам. Георгий Иванович какой-то стиснутый. Может, давит семья, похоже, нелегкая. Каждодневный укор жены откровенно витает в комнате: мог ведь в Коломые устроиться в бытовом отношении куда как лучше, а пренебрег. Осев здесь, впустил в эту квартиру жить посторонних людей, оставил для вызванной сюда семьи только две смежные комнаты и общую с чужими кухню.

Ну, значит, и любовь и дрязги — все как у каждого. А он — не каждый и не на все времена, на эпические, что выявляют из недр народной жизни эпические характеры. В повседневности, когда не востребованы ни самоотдача, ни глубинная энергия духа, его крупная натура пригнетена. <223>

После гражданской надо было бы пойти учиться, считает он, а прислушался к чьему-то совету — вернулся в село. Затянуло, как он говорит, крестьянство. И лишь в зрелые годы понемногу стал учиться. Сначала на фельдшера. Со временем — уже основательно было за тридцать — окончил институт в Ташкенте. Хирург. Остался в Ташкенте работать. В Москве проходил специализацию при Институте Склифосовского, а тут как раз — война. По путевке военкомата отправился на фронт.

Вот мы и снова приблизились к Ржеву. И тут вскоре я пойму, почему Георгию Ивановичу не по себе, чем омрачен, подавлен он. Начал он вроде бы издалека:

— А ведь даже когда вы живете среди немцев, и то есть люди. Нельзя считать, что они поголовно изверги. Сидим мы раз в лагерной землянке, к нам повар присоединился. Пришел немец — парнишка лет девятнадцати. Повар был озлобленный на немцев, ему кулак показывает: "Если б ты мне на нашей стороне попался, я б тебя задом на печку — изжарил". А тот смеется. Может, он и не все понимал. "Ты так не демонстрируй", — говорим мы повару…

А дело вот в ком. В Канукове. Писаре. Его жену, тяжело при бомбежке раненную — разбило челюсть, — Земсков лечил.

— Он говорил мне, что выхода у него не было, пошел в писаря, чтобы не угнали, — жена ранена, ее нельзя стронуть с

места. Не посчитаются. Одно из двух: или угонят, или иди в писаря. И что никто в Ржеве не может сказать, чтобы он, Канунов, что-либо плохое сделал. Это так.

И вот тогда, в доме бургомистра, попросив у меня листок бумаги, Земсков посчитал своим долгом написать о Канукове. Сейчас он протянул мне копию с того листка, снятую им в ржевском архиве:

"Мы имели связь с писарем городской управы Кануковым Михаилом Васильевичем, через него мы приобрели рожь, готовясь к побегу. Он нам сообщал о постепенном отходе немцев из Ржева, сообщил размещение батареи. Одна на Тверской ул., одна около маслозавода, одна… Было поручено одному из членов группы со всеми собранными нами для Красной Армии данными перейти линию фронта. Но его побег не удался.

Был такой случай, когда арестовали немцы механика лесопильного завода Волиневича Константина Максимовича <224> за диверсионно-вредительскую деятельность. Волиневич был бы казнен, его выручил Кануков и один немец, работавший на заводе. Об этом случае мне рассказал сам Волиневич.

Кануков помогал людям скрыться, когда угоняли в Германию, — вычеркивал их фамилии из списка.

Кануков предлагал нам укрытие, он потом приходил к Богданову, когда мы были в туннеле, приносил продукты и одежду. Нам сообщал последние сведения".

Сошлось ли это свидетельство с судьбой Канукова? Неизвестно. А за Земсковым потянулось.

— "Как это вы осмелились с этим писарем!" Кое-кто хорохорился. Слепая осмотрительность. Когда вы в таком положении очутились, достаточно самого последнего кляузника — и все откликаются. А под защиту взять — это редкость. Нужно не просмотреть врага, но и не делать врага. Уж мне, что ли, не знать о предателях, полицаях, негодниках. Но коснулось, так ты сумей отличить одного от другого.

И после войны, как начнут вникать, как да что было, уткнутся в тот исписанный Земсковым листок, где о Канукове, и опять: как это вы доверились писарю?

Недавно Калашников напечатал в районной газете статью о подпольной группе Земскова. Не умея представить себе тех условий, свысока своей ничем не омраченной биографии с газетно-репортерским навыком легко поучает тех мучеников полуживых, как и что им следовало бы делать тогда.

Так ничего и не понял, ни в чем не разобрался. Вялая душа, а прыток. Демонизм нравственного невежества питает недоверие, пошлость — роковые черты, стирающие грань между добром и

злом.

И вот: напечатано далеко, а дошло до Коломыи. Затеребили.

— Долгий был разговор. Говорю, говорю, а сам понимаю, не перескажешь всего, и так словно запутался.

Георгий Иванович смотрел на меня просто, доверчиво, с болью в серых глазах.

2

Земсков, когда звал в письмах приехать, сулил мне поездки в гуцульские селения и сейчас был доволен, что я побывала в горах. <225>

В медицинском училище заканчивались каникулы, начнется новый семестр. Георгий Иванович готовит свой курс. Он отодвинул тетрадь, слушая мой рассказ о старом мастере в гуцульском селе Космач, выстроившем дома и клуб. Сказал мне:

— Это очень много дает человеку, когда его признают нужным. А если нет, он гибнет от окружающей тишины. От бесполезности людям.

Дочери Земсковых не было с нами, она приезжала на выходные дни и вернулась в Ивано-Франковск. Мы пообедали втроем. Я все еще была под впечатлением поездки и встречи со старым мастером. В торжественный день, когда работа закончена и мастер сдает хозяину готовый дом, он надевает джумыря — шапку из барашка. Эту самую шапку надевали в дни важных событий и дед, и отец его. И сам он венчался в ней, и внук его тоже. У гуцулов старинные обычаи, поверья насущны, бытуют в самом течении жизни. Они поэтичны и, думаю, потому нравственны, человечны. А может, и сохранились потому же.

Жена Земскова пододвинула к себе пустые тарелки, составила их горкой, полный локоть ее сполз со стола, оперся о колено, она привалилась щекой к ладони, угрюмо вслушивалась. По-своему истолковав мои слова, заговорила:

— Когда я училась, слово "доброта" было что-то такое… вроде осудительное. "А ты добренькая"… А теперь вот по-другому…

Верно она подметила. Откуда только эти нынешние перемены, из воздуха, что ли. Такая стихия.

— Может, это после зла. Ведь какое-то равновесие должно быть. — И неумышленно я брякнула: — Как, впрочем, и в семейной жизни.

Она вдруг одобрительно, широко, всей грудью рассмеялась, посверкивал золотой зуб, густо-карие глаза молодо заблестели. Подхватила горку посуды, понесла на кухню. Она еще

возвращалась, собирала со стола, сметала крошки…

А мы опять вернулись к Ржеву.

Мне хотелось узнать о судьбе Михаила Щекина, молодого помощника Земскова.

Он, не оправившийся от сыпного тифа, не мог передвигаться, бежать вместе с товарищами и прятаться в туннеле. Вынужден был оставаться в лагере. Взять на <226> себя заботу о нем вызвался пятый член подпольной группы — Михаил Смирнов. В последнем протоколе подпольной группы есть лаконичная запись: "Больного 103 (конспиративный номер Щекина) передать под контроль 112" (конспиративный номер Смирнова). Этими словами готовность Смирнова позаботиться о товарище закреплялась как партийное поручение.

Что же дальше было с обоими?

Георгий Иванович положил передо мной на стол письма Щекина.

"Георгий Иванович, здравствуйте! Смутно представляю последний день, в который я вас видел, но зато хорошо помню слова, которые говорились нами друг другу в эти тревожные дни, быть может, в последний раз…

Как получилось, что я, больной, голодный и истощенный до невозможности, ежедневно битый прикладами и палками, понукаемый и называемый только русской свиньей, остался жив, пройдя тяжелый путь военнопленного солдата от Ржева до французских границ и обратно…"

"Каждую минуту со мной могли расправиться как с сыпнотифозным больным, пулю в лоб, и порядок.

Под страхом смерти я был в товарном вагоне с температурой, голодный, обессилевший, но под надежной защитой своего товарища Михаила. Наш общий товарищ облегчал мои страдания, доставлял мне горячего кипятку на станциях, согревал мое холодное, остывающее тело. Несколько дней он находился в госпитале военнопленных около меня, притворяясь больным, но потом был переведен в Смоленский лагерь…"

Остановлюсь здесь, чтобы запомнить достоинство верности и братства в группе Земскова. Но какой же он, Михаил Смирнов, как хотелось бы взглянуть на этого человека.

Щекин ответил мне: "Он никогда не терял присутствия духа. Опишу его внешность: среднего роста, круглолицый, при разговоре на лице улыбка, взгляд сосредоточенный, изучающий, слегка вприщур. Волосы светлые, голос мягкий. Лет ему тогда было около 30. Вспоминал о семье, о работе. Если не ошибаюсь, кончил он Калининский пединститут. У меня еще теплится надежда разыскать когда-нибудь его".

Разыщется ли? Это зло — камнем под ноги. Добро не лихо: бродит о́ мир тихо. <227>

"Все, что у нас зародилось во Ржеве, я стремился в дальнейшем развивать и выполнять свою клятву, данную в темной, полуразвалившейся землянке, под коптилкой, в присутствии своих верных друзей. Эту клятву и ваше, Георгий Иванович, доверие ко мне я помнил везде и всегда".

После войны Щекин окончил медицинский институт, вернулся в родной город Щигры.

Он писал и в Ржев и мне, вспоминая:

"Находясь в разрушенной землянке впятером, мы долгий период времени боялись поделиться своими мыслями, ожидая предательства.

Были мы в очень подавленном состоянии. Уже до Ржевского лагеря каждый из нас пережил много. Я был взят в плен в окружении в районе Нелидово 5 июля 1942 г. Раненые, избитые, полураздетые и без капли воды — шли в окружении фашистов. Шаг в сторону — смерть. Кто обессилел, стал отставать — пуля. Иногда немцы "забавлялись": выстраивали несколько человек в затылок друг другу и стреляли, определяя пробойную силу пули.

Но однажды вечером голодные мы все сидели в томительном молчании и каждый был погружен в свои мысли. В лагере — штабеля трупов военнопленных, по которым ползали ожиревшие крысы, и мы, полуживые, думали о том, что и наш черед очень близок, что час приближается, только дана почему-то временная отсрочка, которая вот-вот кончится. И вот в такой вечер выступил вперед Георгий Иванович и сказал: "Мы живем вместе, мы русские, следовательно, наша основная цель — это продолжение борьбы даже здесь, в фашистских застенках. Я член партии. Если есть среди нас еще кто член партии, то прошу сказать об этом". Нашёлся среди нас еще член партии, Михаил Смирнов, до войны преподаватель истории, по национальности считал себя финном. Это он впоследствии спас меня, сопровождая. Я был комсомолец. Михаил Соломондин, москвич, рабочий, беспартийный. И также беспартийный Емполов Василий, колхозник из Челябинской области. Он был человек громадной физической силы. В плен попал в безнадежном состоянии. Был ранен осколком в живот и все-таки нашел в себе силы, вобрал внутренности, перевязал себя полотенцем. Рана начала гноиться, и врач <228> Земсков в труднейших лагерных условиях решился сделать операцию. Операция прошла успешно.

И вот в тот вечер, когда к нам обратился Георгий Иванович, молчание было нарушено. Лед тронулся".

В человеке при всех обстоятельствах остается человеческое,

лишен этого только негодяй. И, стоя на том, Земсков отринул страх предательства и расплаты, призвал смятенных, растоптанных, искаженных пленом людей. И не лидерством, а всем составом своей нравственной натуры воздействовал на людей. Не только на объединившихся вокруг него товарищей, но и на других пленных, тех, кому оказывал медицинскую помощь, кого убеждал не поддаваться немцам, не идти во власовцы, и на "вольных", кто, случалось, соприкасался с ним, как несчастный Кануков, оказавшийся в писарях.

И вот — Богдановы. Под игом насилия яростнее тяга и отважнее готовность к добру. Но как возвышенна притом естественность их самоотдачи. Она — свет над горестной той землей.

…Новь злосчастья истерзанного войной Ржева. Все накопленное войной по ту сторону фронта. В упор — досель невиданные обстоятельства и люди, испытавшие их, — то, чего не испытали мы. Новая личина и новая суть. Нужен труд души и ума, чтобы постичь, осилить эту кромешную новь.

3

Земсков укоренился в Коломые, здесь вырастил двух дочек, стал дедом. Но сидим ли мы у него дома, или он провожает меня в гостиницу по площади Героев, мимо Вечного огня и по улицам, которым исторические напластования придают своеобразие, живость, тепло, направляемся ли в ратушу, где теперь медучилище и шестистам студентам-гуцулам Георгий Иванович преподает хирургию, — всюду память относит его в далекий Ржев. Там главный сгусток всей прожитой жизни — страдания, борьбы и братства.

В Коломые Георгий Иванович однажды сказал мне:

— Ваш приезд — это незабываемые для меня дни. Вы продлили мою жизнь. Я снова чувствую себя героем.

Эти слова я с благодарностью судьбе, с волнением ношу с тех пор в себе. Больше мы не виделись, только <229> время от времени писали друг другу, сначала чаще, потом реже — слали новогодние пожелания, поздравления с Днем Победы. И так было до известия о его кончине прошлой весной!

В новом музее Ржева на видном месте — большой портрет Земскова, на широкой груди три боевых ордена, рядом юное, чистое, милое лицо красноармейца Михаила Щекина — таким он был до плена. И сообщение из газет о награждении за боевые заслуги орденом Красной Звезды участника сопротивления в

фашистском концлагере. Фотография Калашникова, присланная им музею, не демонстрируется. Да ведь и не с чего!

4

Я заканчиваю. Пока все, как сказал бы Мазин. Я писала, надеясь освободиться от Ржева, избыть боль, распрощаться.

Прощай, Ржев — перекресток войны, перекресток истории, перекресток стратегически важных железных дорог. И людских судеб.

* * *

Из писем Ф. С. Мазина.

"Недавно дядя прислал мне письмо из Ржева и пишет, что ржевским беженцам теперь в Белоруссии, в Слуцке, сделана на том месте, где они лежат, братская могила. Это там, где был лагерь в войну, в 43 г. Там в лагере ржевских умерших складывали в воронку еще от немецкой бомбы в первые дни войны. Вот на том месте теперь сделана братская могила. Там наша мать, ей было 37 лет".

* * *

"Незадолго до отступления наших войск из Ржева в 41 г. мы с мальчишками проходили по краю старообрядческого кладбища и видим, что наши военные хоронят своих солдат. Они торопились и не везде даже управлялись ставить дощечки с надписями, кто похоронен".

* * *

"Сообщаю Вам, что тот дом у нас в Ржеве, про который я Вам тогда писал, что он уцелел в войну, так вот этот дом недавно сгорел, и вот по какой причине.

Я Вам тогда писал про маленькую сестренку. Так вот, когда она выросла, я писал, что она была 3 раза замужем, <230> а с третьим мужем живет вот уже сколько лет. Так вот этот третий муж у нее оказался порядочным пьяницей, она была на дежурстве на эпидемстанции, не то в вечернюю, не то в дневную смену, и

взяла с собой ребенка, а где там оставляет его, я не знаю, а он пришел со смены пьяным и или бросил окурок на половики, или оставил керосинку непогашенной, он и сам точно не помнит, только проснулся он, а все уже в огне.

Вот так мне сперва все описали родственники. Но сестренкин муж убивался, доказывал и даже плакал, что он был не пьяный и окурка не бросал, что он не виноват, и родственники с него вину сняли, засчитали, что пожар произошел по неизвестной причине. Ржев не Москва — слезам поверил".

* * *

"Высылаю из газеты заметку:

"Голубиный город" — так именовался в прошлом Ржев. Каких красавцев в городе выводили! Составляли они гордость русского голубеводства. Гитлеровцы разрушили Ржев, не пощадили и птиц. Существовал приказ, грозивший смертью тому, кто укрывал пернатых" ("Правда")".

* * *

"Когда летом мне бывает возможность взять отпуск и ехать в Ржев, я стараюсь приехать в такой солнечный день под воскресенье рано утром. Хорошо в такой день подъезжать к Ржеву. Над городом в безоблачном небе теперь, как и до войны, кружатся стаи голубей — белых — высоко в небе, по-ржевски. И в такое утро передо мной встают два Ржева, два ржевских неба — военное, хмурое, с гарью пожарищ, и мирное небо — со стаями белоснежных голубей, то в такое утро хочется сказать:

Пусть всегда будет небо
над Ржевом такое,
и голубиное и голубое".

"Ну, вот, кажется, и все. Чем мог в материале о Ржеве, тем я Вам помог, это был мой долг как бывшего жителя своего любимого города, впрочем, 7 мая я уезжаю в Ржев на День Победы…"

* * *

А я уезжаю завтра на юбилей. Сорокалетие освобождения города. Значит — снова Ржев!

1982–1983

notes

Примечания

1

На ломаном немецком: что сто́ит, Нинка, твоя капут машинка?

2

На ломаном немецком.